

Мемориал Марка Кандида  
от 1990/2000 г.

11

Руче

0451

Сандраукан М.К.  
Членский Василий Степанович  
: 1880(75) - 1930

НИЦЦ "МЕМОРИАЛ"

Архив	
Фонд №	9
Дисп. №	
Дело №	105
Коробка №	

Андреев Василий

# Еженедельник

103662 Москва, Цветной бульвар, 30

# Литературная РОССИЯ

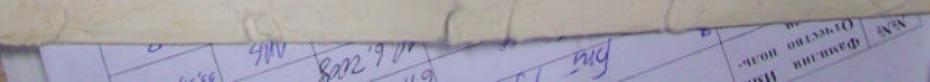
45

Тел. 200-40-05

Сандрауказ

Воспоминания  
1937. Ленинград

65 Эсминец с грудными  
ребенками в единой камере ногами  
Этап с грудными, Томск  
торбма 2 года с грудными  
ногами через ЯВО из  
с детьми.



Fonds №	2
Series №	105
Sheet №	2
ФОНД №	

НИПЦ «Мемориал» Москва	
АРХИВ	
Ф	2
нр	1 N 105

ФОНД № 2

Коллекция мемуаров и литературных произведений

САНДРАЦКАЯ, МАРИЯ КАРЛОВНА

/Воспоминания/.

1964 г., Ленинград.

Машинопись, без подписи.

Фонд №	2
Дело №	105
Связка №	
Опись №	1

На	40	листах
ХРАНИТЬ ПОСТОЯННО		

Мария Карловна САНДРАЦКАЯ

Вновь на меня нахлынули  
воспоминанья...

И я не в силах, не могу  
от них уйти.

Проходят годы предо мной  
изгнанья

Из жизни, радости, семьи.

Ленинград 1964 г.

Светлой памяти бывшего  
товарища, мужа

Горб Василия Ивановича.

Я попала под колесо событий

1937-го года.

Оно раздавило меня, измучило  
душу, мозг,

оставив жизнь.

В 1937 году в Ленинграде был арестован и расстрелян мой муж, бывший начальник Политотдела соединения подводных лодок Балтийского флота, Горб Василий Иванович, член КПСС с 1917 года.

Вскоре после этого была арестована я, как член семьи, и приговорена к 8 годам заключения.

Детей моих: сына восьми лет, дочерей десяти и двенадцати лет отправили в разные детдома Союза, а меня с двухмесячным ребенком в Томскую тюрьму, откуда через два года в лагеря.

Со всей жестокостью обрушились на меня удары.

Арест и расстрел мужа. Мой арест. Разлука с детьми. Смерть десятилетней дочери в детдоме, не выдержавшей травмы.

И что самое страшно, это мучения двухмесячного ребенка, разделившего в тюрьме и лагерях печальную судьбу своей матери.

Но за что?!...

Этого я не знала. Я только чувствовала, что вся была в ранах,

незаслуженных, кровоточащих...

Испив чашу горя до дна, я не потеряла веру в жизнь. Я знала, что придет время и партия разберется, кто прав, а кто виноват.

Но до того дня, когда в августе 1955 года, через 18 лет изгнания, я была возвращена к жизни, я пережила долгие годы страданий, унижений, безысходного горя, нечеловеческих мук от бессилия и невозможности помочь умирающей далеко от меня дочери Светлане...

С тех пор прошло 27 лет...

И только сейчас я нашла в себе силы писать.

Как все это произошло?

С чего начался этот страшный в нашей жизни

ОБРЫВ?

Чьими руками в крови была воздвигнута

ГОЛГОФА,

на которой погибли лучшие, верные сыны и дочери Социалистической  
Отчизны?

.....  
В марте 1937 года на общегородском партактиве в Ленинграде мы слушали доклад товарища Жданова:

"Итоги февральско-мартовского пленума ЦК по докладу т. Сталина "О задачах парторганизаций в связи с окончательным выкорчевыванием троцкистско-зиновьевских остатков."

'с.

автор  
& комм

Как обычно, приехав на партактив в Таврический Дворец, я заняла рядом с собой место для Васи, который должен был приехать из Кронштадта.

Смотрю, вся партийная часть командования Балтфлота явилась, а Васи среди них нет.

Не заболел ли? Другого предположить не могла.

Наши общегородские партактивы продолжались 3-4 дня. К глубокой, деловой, широко развернутой самокритике приучил Ленинградскую парторганизацию Сергей Миронович Киров. И она продолжала действовать при Жданове.

Мы слушали его внимательно, но... чувство горькой утраты не покидало нас.

По окончании первого дня актива в 12 ч. 30 м. ночи, спускаясь по лестнице к выходу, я встретила Соколова, комиссара линкора "Марат", члена парткомиссии Балтфлота, друга Васи. Мы учились вместе в Свердловском университете.

Спрашиваю его: "Не знаешь ли, почему Вася не приехал на актив?" Он отвечает: "Я отвезу тебя домой на машине. По дороге поговорим."

Я почувствовала что-то недоброе...

По дороге Соколов спрашивает: "Скажи, Вася все тебе рассказывал о себе? Все", - говорю. Молчим. Но уже всю меня охватило предчувствие большой беды. "Говори, Соколов, прошу тебя. Скажи прямо, что случилось с Васей. Всю правду скажи, не только, как жена, но и как члену партии".

"Видишь ли... Сегодня на парткомиссии Вася исключен из партии. Он дома, Сам расскажет тебе".

Что-то оборвалось во мне. В этот момент я опустила, что теряю

рук  
кошелек

равновесие, лечу в черную пропасть, гибну.

Так исключение из партии моего товарища, мужа, отца моих детей я восприняла не только, как его партийную смерть, но и как свою. Дверь в нашей квартире я открыла своим ключом. Вонши. Тишина. Дети спят в своей комнате.

Вхожу в нашу. Полумрак. Меня удивило, что Вася, как обычно, не встречает меня приветливо, радушно. Вижу Вася лежит на постели. Поразил меня его вид. Окаменелый, отчужденный. Смотрит в одну точку каким-то невидящим взором.

Присела к нему. Говорю:

"Вася, расскажи, как это все произошло? Почему тебя исключили из партии?"

Видно было, что говорить ему было трудно. Сделав над собой усилие, не поворачивая головы, как-то заглушенно произнес: "Три часа бились надо мной... Заставляли признать, что я троцкист, когда я им никогда не был".

"А ты, что им ответил?"

"Что я мог им ответить?! Ничему не верили. Вызванные из партбюро Академии уверяли их, что я никакого отношения не имел к троцкистам. Не поверили".

Замолчал. Дышит тяжело. Так стиснул челюсти, что зубы заскрежетали. На лбу выступили капельки пота.

"А формулировка какая?" Как мотивировали исключение тебя из партии?" – продолжала я на него насыдать. И уже чувствовала, как внутри меня поднимается возмущение, протест, ярость. Я уже с трудом себя сдерживала.

10  
зан

"Выписка из протокола на столе", - говорит Вася:

Беру выписку. Читаю:

"За контрреволюционную, троцкистскую, диверсионную и шпионскую деятельность, за покушение на жизнь тов. Ворошилова нач-ка полит. отдела соединения подводных лодок Балтморя ГОРБ Василия Ивановича исключить из партии."

С тех пор прошло 27 лет... Но и сейчас, когда я пишу эти строки, я вновь так явственно ощущаю эти страшные слова, прозвучавшие тогда, как смертный приговор человеку, ни в чем не виновному.

Помню, когда я прочла выписку, кровь прилила к голове. Сердце сжалось от боли. Будто перестало биться. Потом вдруг, будто забилась крыльями в сердце раненая птица. Так заколотилось оно, что казалось, разорвется.

Мне стало плохо. Еще одно мгновение - и упаду.

Но в тот момент, когда силы оставляли, когда я начала терять сознание, а комната пошла, пошла кругом, - в этот момент я снова увидела Вася. Потрясенный, уничтоженный, по-прежнему окаменелый, он продолжал лежать на спине и невидящим глазами смотреть в одну точку. Был он уже весь какой-то атрофированный от всего живого, убитый, но еще живой...

Я собрала в себе последние силы. Почувствовала в этот момент их прилив. Сопротивление против этого чудовищного недоразумения охватило меня.

- Неправда! Это гнусная ложь! Не верю, не верю!

Во мне все дрожало. Нет, нет! Не может этого быть! Что за чушь! Это ошибка! «Левета!

Как и когда Вася мог стать врагом Родины?!

Прадед и прабабка его были крепостными. Дед и отец сталевары. Подростком Вася работал на заводе "Ильич" в Мариуполе подручным у отца.

Иван Степанович Горб, отец Васи, 45 лет проработал литейщиком. Много высококачественной стали дал стране. До сих пор завод "Ильич" и город добрым словом вспоминает своего знатного, старого литейщика.

С 1916 года Вася начал службу во флоте матросом, кочегаром.

Октябрьская революция ставит его в передние ряды борцов за молодую Социалистическую Отчизну.

В 1917 году он с Красной Гвардией в Черноморском отряде участвует в боях против неприятеля. В 1918 году с отрядом Саблина ликвидирует гайдамаков. В 1919 году с отрядом Дыбенко в боях против Деникина. В этом же году, когда Днепровская флотилия успешно "выбила" Скоропадского из Киева, Вася, будучи военкомом одного из кораблей, был тяжело ранен. По выздоровлении он в морской - Экспедиционной Дивизии в боях против Врангеля. Раненный попадает в плен. Был приговорен к расстрелу. Бежал и снова в рядах бойцов участвует в ликвидации Махно.

В 1920 году Черноморский флот посыпает Васю учиться в комвуз им. Свердлова в Москву, откуда по окончании направляют его учиться в Военно-Политическую Академию им. Толмачева в Петроград.

В 1925 году по окончании Академии Вася комиссар линкора "Парижская Коммуна", затем назначается комиссаром на линкор "Марат". Начальник политотдела Бригады Эсминцев, начальник политотдела Бригады Подводных лодок Балтморя.

10/10  
конч.

Где я встретила своего товарища, ставшего отцом моих детей?  
Что объединило, сроднило нас?

Когда началась I-ая мировая война, мне было 16 лет. В июне 1914 года в числе 700 девушек, получивших 7 классов образования, я была призвана на медицинские курсы военного времени. По окончании их я была направлена в медсанчасть 12-ой армии в Карпаты, где проработала медсестрой до Февральской Революции.

Фронт империалистической войны был для меня суровой и серьезной школой жизни.

Я видела и старалась понять, что происходило на фронте. Недовольство, усталость, брожение среди солдат, неистовая тяга домой, братание с австро-германскими солдатами. И раненые, раненые, истекающие кровью, измученные, умирающие от смертельных ран.

Не счастье, сколько их было...

Пережитое на фронте открыло мне глаза. Я раз и навсегда поняла, что мне надо делать, на какой путь становиться.

Эта страница моей жизни помогла, научила разбираться в событиях, указала мое место в борьбе. Ей я обязана миропаниманию, которое складывалось уже тогда, когда в возрасте от 16-ти до 19-ти лет рядовым солдатом медицинской службы в пороховом дыму, по земле, обагренной человеческой кровью, я прошла по путям-дорогам первой мировой войны.

Февральская революция застала меня на фронте в Карпатах. Отряд наш был расформирован. Меня демобилизовали. Я уехала домой в Одессу.

9

В день моего возвращения с Фронта в мой город приехал министр Временного правительства Керенский. Я слышала его выступление с балкона Сибирийского театра. Заложив руку за борт френча, желая этим походить на Наполеона, он истерически призывал продолжать войну "до победного конца".

Я слушала. Чувствовала, как во мне начинает закипать ярость, негодование, протест. Вспомнила Фронт, Карпаты, кровавую войну - мясорубку, как называли ее солдаты. Смертельно раненные, истекающие кровью, они не знали за что, за кого умирают. Умирали, проклиная того, кто послал их на эту страшную бойню:

"Будь ты проклят, пьяничуга, тиран, палач царь-Николашка", - слышала я не раз.

Нет, не эта война до "победного конца" нужна народу. И я решила уехать из родного города искать правду. Уехала в Москву к любимому другу детства, юности, советчику, которому мы старались подражать в стойкости, непримиримости. Это была сестра моей матери Голлер Серафима Ильинична, член КПСС с 1903 года, ныне доктор исторических наук, Герой Социалистического Труда.

С мужем Эммануилом Ионовичем Квириングом, (погиб страшной смертью в период культа, его растерзали овчарки...) она жила в то время в Доме Советов (Метрополь).

Туда, не задумываясь, я направила свой путь. И я не ошиблась в выборе пути.

Сейчас, когда мне уже 65 лет, я благославлю жизнь, глубоко благодарю ее за то, что эти первенцы борьбы за светлое будущее, эти буревестники революции, люди, стоявшие на переднем плане жизни,

Чс.

Документ  
под номером

бесстрашно шагающие впереди ее, — зажгли во мне священный неугасимый огонь непримиримости к злу, несправедливости.

И я горда и счастлива, что в детстве, в юности эту закалку ты дала мне, родная наша и любимая Симочка.

Я не ошиблась в выборе пути. Тем более, что в Москву я приехала в самые горячие дни Октября. Вот где и когда я нашла настоящую правду, которую страстно искала.

Серафима Ильинична направила меня к Надежде Константиновне Крупской в Наркомпрос, где, работая в литературно-издательском отделе, в 1918 году я была принята в ячейку сочувствующих Коммунистической партии.

Привела меня к ней мечта о лучшей жизни.

Двадцатые годы... Работая в женотделе Одесского Губкома, я входила в комиссию Губчака по борьбе с беспризорничеством, преступностью среди малолетних, проституцией.

Началась тогда решительная ломка пережитков старого, гнилого мира. Во что бы то ни стало надо было ликвидировать проклятое наследие прошлого. И мы не жалели на это своих сил.

В конце 1920 года меня послали учиться в Москву, в комвуз, им. Свердлова.

Здесь я встретилась и подружилась с моряком Черноморского флота Василием Горб. Часто вспоминаю "свердловку", учебу в ней. Счастливая пора молодости, с которой связаны лучшие порывы, дерзновения. Упорно и упрямо, в условиях плохо оборудованного общежития, плохого питания, мы настойчиво "грызли" гранит науки", овладевали марксистско-ленинскими знаниями.

По окончании Комвуза я работала в Донбассе, куда во время ка-

24c.

Документ  
1920

никогда в Академии Вася приезжал из Петрограда ко мне. Он стал моим мужем. Вскоре я уехала к нему.

Это была замечательная, незабываемая пора нашей жизни и работы в Ленинградской парторганизации, руководимой тогда Сергеем Мироновичем Кировым, которого мы так беззаботно и горячо любили.

Большой радостью для нас, ленинградцев, было работать с ним. Чудесный, изумительный наш город Ленинград в период работы в нем Кирова достиг расцвета.

Мы работали с невыразимым подъемом. Киров как-то особенно умел зажигать нас. В работу, в жизнь ему удалось привить такой стиль, при котором каждый из нас чувствовал себя не только исполнителем его воли, но и творчески окрыленным, ищущим, изобретающим новое.

После комвуза я работала в парторганизациях фабрик, заводов на выборной работе, секретарем парткома, затем в Петроградском и Выборгском Райкомах.

Секретарем Выборгского Райкома был Петр Иванович Смородин, а его замом Гайцхаки Самуил. В них обеих отразилась суровая, комсомольская рабочая юность, питерская закалка, непоколебимая преданность большевистской партии. И я горда тем, что работала с ними. В сердце моем они навсегда оставили о себе светлую память.

Оба они пали жертвами культа личности Сталина.

Ча-

Здесь в Ленинграде пришла ко мне величайшая радость. Радость, которую только может дать женщина жизнь, — счастье материнства.

Это счастье было нашим общим. Моим и Васиным. Оно начиналось безграничной радостью при виде рожденного мной ребенка. Проявлялось

Документ  
рукопись

в щедрых ласках и заботах матери и отца о растущих под нашим присмотром детях.

И мы уже предвкушали, как будем горды и счастливы при виде взрослых дочерей и сына, ставших достойными гражданами своей Родины.

Дети росли. Счастливые, жизнерадостные. Расцветали под солнцем материнской и отцовской любви к ним.

Вася работал и жил в Кронштадте. Домой приезжал на выходной день. Летом с кораблями уходил в дальние плавания. Бурной радостью дома были его приезды из Кронштадта, особенно, когда он возвращался с моря.

Как мы любили его рассказы о дальних плаваниях; о море, о кораблях, о товарищах по флоту. Помню, как глаза его загорались любовью к своему родному, кому он отдал всю свою жизнь, флоту.

Сердце сжимается от боли... Я вспоминаю его рассказы о тех, которые после Октября, застав в Черноморском и Балтийском морях "разбитые посудины", все силы отдали на создание красного, революционного флота.

Память запечатлела его рассказы о Дыбенко, Душенове, Галере, Гришине, Мокшанчике, Викторове и еще о многих других, фамилии которых я не запомнила.

Все они погибли, уничтожены в период культа личности Сталина. Краснофлотцы любили и уважали Васю.

Окончив Академию, он не переставал работать над собой.

Был преданным, любящим отцом, мужем. Самое святое было для него - наши дети. И они платили ему тем же. Души не чаяли в своем

папе Васе. Он отличался большой моральной чистотой, был правдив, скромен и очень волевой.

Черты волевой твердости, а подчас и суровости сочетались у него с сердечностью и теплотой.

И я спрашивала себя... Не могла найти ответ на мучавший меня вопрос в тот роковой вечер, когда вернувшись с партактива, узнала, что Вася исключен из партии.

За что?

Когда и что могло случиться?

Как могло произойти, что вот такой Вася, с открытой и видимой для всех жизнью в работе, в семье, так глубоко преданный и любящий свою Родину, которую отвоевывал у многочисленных врагов, защищая ее не жалея ни своей крови, ни жизни, — как и когда мог вот такой — Вася повернуть к своей Отчизне винтовку?!

Зачем и для кого понадобилось сфабриковать из него врага, изменника Родины?!

Это я поняла много лет спустя.

Но тогда, когда видела перед собой Васю, уже умершего для Партии, я ничего не понимала.

Чувствовала только, что почва под ногами заколебалась, ускользает, и вот, вот я полечу в пропасть... Но в эту самую секунду вдруг будто что-то меня оттолкнуло от ее края и я как-то сразу пришла в себя.

Сознание подсказало, что надо действовать, и сейчас же. Меня охватило такое жгучее возмущение при виде раскинутого, притихшего, потерявшего волю Васю.

занесено  
все кончики

И вдруг я закричала на него, начала трасти, заставил его встать. Причем, в этот момент я не узнавала ни себя, ни свой голос.

"Что ты лежишь, как истукан! Ты ли это? Я не узнаю в тебе моряка, привыкшего к штормам, шквалам на море, умеющего бороться со стихией. Ты справлялся с бурей, шел ей навстречу, а теперь?"

А ну-ка, сейчас же вставай, справляйся, борись с этим шквалом, налетевшим на тебя, неизвестно откуда, а не то он смоет с лица земли тебя. И потом, неужели ты не понимаешь, что эта формулировка сфабрикована не только для исключения тебя из партии. Она для тебя гибельна".

Всю ночь до утра Вася писал письма Сталину, Ворошилову, Гамарнику, Еланову.

Но судьба его, как и многих тысяч других, таких же невиновных, в этот страшный, кровавый 1937 год была уже предрешена Сталиным, - возомнившим себя сверхчеловеком.

28 мая 1937 года Вася был арестован.

В II ч. 30 м. вечера явились к нам на квартиру три работника Особого отдела НКВД Кронштадта. "Добрый вечер, Василий Иванович", - вежливо обратились к нему, - "предъявите, пожалуйста, оружие".

Я посмотрела на Васю. Побледнел. И опять ту же окаменелость я заметила в нем.

Опомнившись, он стал доставать свой и даренные ему с надписями наганы, патроны, шашку, подаренную Уральским комсомолом.

Я поняла, что это арест.

Через два месяца должен был родиться наш четвертый ребенок. Всякое потрясение в таком состоянии женщина особенно тяжело переживать.

Мне стало плохо. Я и сама не заметила, как сплюзла на пол. Меня уложили на кушетку. Один из пришедших подсёл ко мне, успокаивает: "Не волнуйтесь, Василий Иванович вернется через два дня."

Закончив обиск, предложили Васе собираться.

Он спрашивает их: "Разрешите попрощаться с женой и детьми..."

... 27 лет прошло с той минуты, когда я в последний раз видела Васю... В последний раз слышала его голос... А я до сих пор так явственно слышу, как с трудом произнес он эти слова. В том, как он сказал, уже была безнадежная обречённость.

Получив разрешение, Вася в сопровождении одного из пришедших направился в комнату, где спали дети. Они не проснулись и тогда, когда отец, медленно в молчании, подходя к каждой кроватке, наклонился и целовал Искру, Светлану, Володю... Лица детей были спокойными. Жизнь их была безмятежна, хороша... Светлана во сне улыбалась. Как видно, ей снился хороший сон.

Они и не подозревали, что в этот момент отец их прощается со своими детьми... навсегда.

Отошел от детей Вася. Подошел ко мне. Смотрим друг другу в глаза. Молчим, но понимаем. Трудно было говорить, и ему и мне... С трудом сдерживая боль, слезы, говорю: "Василек, папа наш, как жить будем без тебя?"...

Сдавило в горле. Больше ничего не могла сказать. А он: "Береги, мать, детей наших. И этого сбереги, еще не родившегося..."

Замолчал, а потом тихо говорит мне: "Когда-нибудь узнаешь, что я ни в чем не виноват"...

Подошел ближе. Смотрю, глаза красные, слезы... Обнял. Поцеловал. И до сих пор чувствую дрожащие, скатые его губы...

16

расшиф  
рка

Больше ничего не видела с этого момента прощания. Я потеряла сознание.

Когда очнулась, вижу, что лежу на кушетке. У стола сидит комендант дома, которому предложили побить со мной пока мне станет лучше.

Было 3 часа 30 мин. ночи. Обыск затянулся. Пришедшие арестовывать Васю, долго просматривали нашу библиотеку. Предложили изъять "Историю партии" Е.Ярославского. С собой почему-то забрали начатую Васей литературную работу "Десант" и мою "Воспоминания ленинградских рабочих о С.М.Кирове", тоже неоконченную.

... Ночь продолжалась. Она принесла в нашу семью мрак, страдание, безнадежное горе...

Было тихо. Дверь в комнату детей оставалась закрыта.

Дети ничего не слышали, ничего не знали.

Так навсегда ушел от нас наш папа Вася...

Три месяца он пробыл в ДПЗ в Кронштадте.

После ареста Васи квартиру нашу опечатали. Меня с детьми поселили в маленькую комнату.

Полина Кондакова, большой друг нашей семьи, вторая мама, как мы ее называли, увезла детей к себе в деревню под Вологду до начала занятий в школе.

7 августа этого же рокового года, когда дети потеряли своего отца, я дала жизнь нашему четвертому ребенку.

Я написала в Кронштадт:

"Уважаемый начальник Особого отдела! Прошу сообщить моему мужу Горб В.И.,! что его жена благополучно родила дочь. В память нашего замечательного прошлого и в глубокой уверенности, что будущее будет таким же замечательным, назвала ее Галиной!"

Вася всех нас называл по своему: меня "Галчонок", детей - "Галчата". Вероятно, потому, что все были черноглазые.

На пятый день после отправки этого письма мне в палату привезли большой букет цветов. Их привезли два моряка из Кронштадта. Записки не было. Я поняла, что их прислал Вася. Писать из ДЦЗ нельзя было. Он попросил отвезти мне цветы.

Это был последний привет от Васи...

31-го августа 1937 года Васю, подводника Балтморя, нашего папу-Васю... расстреляли.

Так, в действии уже была завуалированная, а в действительности, ничто иное, как антиленинская, изуверская, иезуитская теория Сталина, -

"О необходимости окончательно выкорчевывать троцкистско-зиновьевские остатки."

Так дана была преступная, небывалая в истории рабочего движения, в истории партии установка о разгроме, уничтожении руководящих и рядовых коммунистов, комсомольцев, беспартийных.

С "легкой" руки Сталина, обагренной кровью лучших людей, опозорена была наша эпоха.

Началась страшная выкорчевка. Начались страшные, полные кошмаров "Варфоломеевские ночи". Черные, закрытые автомашины НКВД подъезжали к домам ночью и навсегда вырывали из жизни тех, кто своей кровью завоевывал и защищал Советскую власть.

Не забыть никогда, как больно жгли, глубоко возмущали истерические, гневные статьи в газете "Ленинградская Правда". Авторы этих статей, как автоматические попугай и просто, как верные прихвостни и фанатичные хрецы культа, захлебываясь от ярости, неистово требовали в своих статьях:

"С корнем вырвать, выкорчевать, сравнять с землей контрево-  
лоционные гнезда".

- И сравняли с землей мое гнездо...

• • • • •

Установку Сталина о выкорчевке продолжил и расшифровал Главный Прокурор Союза Вышинский, человек без сердца. Он внес в Конституцию СССР в пункт о суде и прокуратуре подпункт, написанный винзумом страницией пунктиром и гласил:

"Члены семьи, жены отвечают за злодеяния своих мужей".

Так, с "легкой" руки человека без сердца, десятки жен арестованных были отправлены в тюрьмы и лагеря.

Но на этом тяжкое преступление перед человечеством не было закончено.

Детей репрессированных, разлучив их с матерями и отцами, этапировали через детские распределители НКВД в арестанских вагонах в детские дома Союза. Причем, многие из них попали в колонии для малолетних правонарушителей. Так отнято было у них детство.

Но самое страшное это то, что жен, у которых к моменту ареста были грудные дети, забирали вместе с крошками.

Меня не миновали эта горькая учесть. Гале было два месяца, когда меня арестовали.

• • • • •

Как это было?.. Тяжело и страшно вспоминать и сейчас, по прошествии 27-ми лет, но...

Надо все вспомнить, все рассказать, чтобы дети мои, внуки мои

знали, что произошло.

Пусть знают они, как ушел из жизни их отец и дед. Как ушла из жизни их сестренка Светлана. Счастливая и жизнерадостная. Отличница учебы. Замечательная незаурядная физкультурница. Наша мечтательница, певунья. Такая ласкова; всегда воодушевленная оттого, что "так хорошо жить", как любила говорить она.

Пусть смерть моей дочери будет горьким упреком страшному 37-му году, который оборвал ее счастливое, радостное детство...

Но... что я скажу детям моим и внукам, когда они спросят меня: "Почему вы, коммунисты, во время не предотвратили?"

Мы верили Сталину.

.....

Да...

Я хотела рассказать, как меня арестовали с ребенком и разлучили со старшими детьми...

29 октября 1937 года.

Вечер. Дети готовят уроки. Я выкупала Галю. Запеленала. Села покормить. Вдруг, звонок. К нам давно уже никто не приходил. Боялись, после ареста Васи. Поля открыла дверь. Входит работник НКВД. Не поздоровавшись, остановился на пороге, и не сказал, а как-то выпалил:

"Собирайтесь с ребенком."

Я сама удивляюсь себе, как я могу даже сейчас, после 27-ми лет об этом писать...

Помню, его слова, как пуля, ударили в сердце, ранили его, и

рана эта до сих пор не заживает, кровоточит...

После пережитого — арест и расстрел Васи, бесконечные допросы в НКВД, куда мне приходилось являться с Галей на руках, так как Поля уехала с детьми в деревню и мне не с кем было оставить Галю, — я была в состоянии прострации. Я уже ко всему была готова. Настолько уже была истерзана и измучена, что только думала: "Скорей бы конец..." А какой, я и сама не знала. Но не было во мне уже живого места, и я изнемогала под тяжестью горя, страданий... Будто могильный придавил камень...

Да, я уже все ожидала, только не этого... ареста с ребенком.

Я подошла к пришедшему и тихо, чтобы дети не слышали спросила: "Что это, арест?" А он, не поняв моей осторожности, во весь голос: "Что вы, куда я вас возьму со всей вашей оравой.(!) Завтра вы вернетесь домой".

И я начала собираться. Дети почувствовали что-то недоброе. Сначала тихо, а потом громче и громче заплакали, зарыдали.

Как же им было справиться с навалившимся на них снова горем?.. Недавно взяли отца, а теперь... Неужели разлучат с матерью? Как утешить их?... Ведь у самой почва уходит из-под ног, и я гибну... вместе с детьми...

Откуда же эта беда? Одна за другой... Понять тогда мы не могли. Поняли много лет спустя.

"Не плачьте, я завтра вернусь," — пробовала я успокоить детей.

А Светлана с такой горечью и безнадежностью: "Да, вернешься... Папе тоже сказали, что он через два дня вернется."

Я оделась. Поля закутала ребенка. Помню, я возражала против того, чтобы она клала в чемодан одежду, белье мое и ребенка, одевло, подушку. "Зачем все это, я ведь завтра вернусь." А Поля делала свое. Молча, не слушая меня.

И только потом, в дороге, в тюрьме, в лагерях как благодарна я была ей за эту последнюю ее заботу обо мне, о ребенке.

Больше никогда не пришлось нам увидеться. Поля погибла в Ленинграде во время блокады.

Когда я собралась, осталось самое тяжелое, прощание с детьми... Об этом не могу говорить и сейчас...

Помню, Поля взяла на руки закутанную Галю. А он, пришедший за нами, страшный, роковой, разлучающий мать с детьми, стоял у порога и торопил... Я же не могла сдвинуться с места. Искра, Светлана, Володя обхватили меня и, громко рыдая, обнимали, целовали и непускали подойти к дверям...

Но пойти пришлось. Впереди шла я. За мной он, с наганом в руке. За ним Поля с ребенком и дети. Дети хотели быть возле меня. Он не разрешил.

Когда мы спускались по лестнице, соседи вышли из своих квартир. Я услышала, как одна за другой громко заплакали.

Много лет спустя, когда я вернулась в Ленинград, мне захотелось посмотреть дом, квартиру, где так счастливо жила с семьей...

И тогда мне рассказали живущие с тех пор, что зрелице было потрясающее: "Страшно, жутко было смотреть, как уводят под конвоем с наганом в руках мать с ребенком."

Через полчаса, после того как увезли меня с ребенком, приехали из детского распределителя НКВД за моими детьми.

Как забирали детей, я узнала из письма Поли. Она писала мне в лагерь:

"Не успели дети немного успокоиться после того, как тебя с Галей увезли, снова раздался звонок. Отворяю. Входит опять работник НКВД, а с ним женщина. Не поздоровались. Резко ко мне: "Одевайте детей".

Когда дети услышали эти слова, подбежали ко мне, вцепились крепко, закричали: "Поличка, наша, родненькая, мама-Поля, не отдавай нас!"

Я обхватила их всех и не своим голосом завопила: "Никому не отдам детей. Не отдам. Только матери отдам".

Тогда, уже ласково, пришедшая женщина стала успокаивать детей: "Мы вас отвезем к маме. Вы будете жить с ней и учиться в Ленинграде".

Дети успокоились. Поверили. Так, обманом взяли детей, отправили в дет. приемник НКВД.

В детском распределителе при Ленинградской Арсенальной тюрьме детей моих навещали Поля и сестра моя Серафима, погибшая во время блокады со своими двумя взрослыми детьми. Они умерли в своей комнате и всех троих на саночках увезли на кладбище. Обессиленные от голода и холода, в эту страшную блокадную зиму, они уже не вставая, лежали закутанные, в холодной комнате. Одна из дочерей сестры Тамара, все мечтала, говорила тихим, глухим голосом: "Если б только 100 грамм хлеба я скушала, я бы встала и вам принесла какую-нибудь пищу." Но не было этих ста граммов хлеба, и они трое одна за другой тихо закончили свой жизненный путь...

Заходить в детприемник тюрьмы сестре и Поле не разрешали. Видели они их через решотчатые двери. Смотрели на них и плакали...

Однажды, когда они пришли, детей уже не было.

Очень большое количество детей из Ленинграда развезли в разные детдома Союза, подальше от родного города, где они родились. Многие из них попали в колонии для малолетних правонарушителей.

Так началась моя разлука с детьми на долгие горькие годы, полные скорби и безысходного горя...

И я не знала, что Светланочку мою я уже никогда не увижу.

Когда 29 октября 37-го года меня арестовали с ребенком и отвезли в Ленинградскую Арсенальную тюрьму, она уже была полна такими же, как я, женами репрессированных, матерями с грудными детьми на руках.

Немного погодя, нас начали по одной вызывать к начальнику тюрьмы. Он предъявлял нам приговор. На обратной стороне его мы, прочитав, должны были расписаться.

Помню, взяла я этот приговор свой в руки, читая один раз, другой, третий... и ничего не могу понять.

"Сандрацкая М.К. за связь со своим мужем Гирб В.И., врагом народа и изменником Родины осуждается ОСО при НКВД на 8 лет трудоисправительных лагерей".

Спрашиваю начальника тюрьмы:

"От чего я должна исправляться?" В чем обвиняется мой муж?"

А он:

"У вас была связь с вашим мужем?"

"Да", - говорю я. - "Я родила от него четверых детей".

Рассердился. "Щутки здесь ни при чем. Не задерживайте, под-

писывайте приговор".

А у меня все еще рука не может вывести фамилию под этой чудовищной бумажкой. "Скажите, что я буду делать в лагерях? - продолжала я его осаждать. "Работать" - отвечает начальник.

"А если я буду хорошо работать, меня раньше 8 лет выпустят?"

"Ну, знаете ли?! Троцкий и другие контрреволюционеры тоже хорошо работали, однако... Главное, вам надо будет осознать, исправиться".

А я опять: "От чего?"

"От связи со своим мужем. Подписывайте приговор".

Бесполезно было больше с ним говорить. Галля на руках у меня зашевелилась, проснулась. И вся я переключилась к своему ребенку.

• • • • •  
К вечеру погрузили нас, матерей с детьми, в автобусы и привезли на станцию Ленинград-Товарная, где стоял большой состав из 45-ти теплушек для арестованных.

Два вагона приспособили для матерей с грудными детьми. В них разместились 65 матерей.

В дороге застала нас настоящая, суровая зима.

И вот мы едем. Куда, не знаем. Обреченные, неизвестно за что изгнанные из жизни...

С нами наши крошки, ничем не провинившиеся перед человечеством, разве только в том, что родились в страшный 37-й год...

В вагонах не только холодно, мороз. Стекла в окошках с решетками покрыты льдом. В двух концах вагона топятся, вернее дымят "буржуйки". Тепла на весь вагон они не дают. От них только копоть, дым.

- Нам трудно дышать, а каково младенцам?!

Когда поезд отошел от Ленинграда, я спросила сидящего с винтовкой в руках у дверей вагона конвоира: "Товарищ, куда мы едем?" Отвечает с запальчивостью: "Я тебе не товарищ!" "Почему?" "Потому что я вольный, а ты заключенная, контрик".

Так, в дороге к месту заключения, я узнала, что я уже не я, а зека-мамка, контрик, как нас называли в тюрьме и лагерях.

С какой-то давящей болью задумалась. Подошла к окну. Так скажет сердце... Смотрю через решетку за отдаляющийся любимый город, где я так была счастлива. Говорю сама себе: "Прощай, мой Ленинград..."

Конвоир услышал и опять с сердцем: "Эх, ты! Какой же он теперь твой?! Не твой уже Ленинград. Ты враг и изменник Родины. И везут тебя в Томскую Тюрьму." Так я узнала куда нас везут.

Что я могла иметь к этому конвоиру. Молодой парень с явно напущенным на себя серьезным и злым видом. А глаза и лицо у него открытое, хорошее. Отвечал он мне и говорил так, как ему разъясняли.

И все же страшно стало от его слов. Больно отзывались они в моем сердце.

Отошла. Подсела на полку, где закутанный лежал мой ребенок. Взяла его на руки, крепко прижала к своей груди и горько заплакала бессильными, никому уже не нужными, никем не видимыми слезами...

А Гая горела. В дороге заболела двухсторонним воспалением легких. Температура упорно держалась  $40,5$ ,  $40,8^{\circ}$ . Два раза в день из другого вагона приходил в сопровождении конвоира врач, тоже заключенный. Запретил разворачивать при таком холода ребенка. Ве-

дел держать его все время в подушке. Давать все время грудь. Сказал, что в условиях дороги это единственное лекарство. Длительные движения будут способствовать работе легких.

И я в точности выполняла совет врача. Материнское молоко спасло Галю. К счастью, его у меня было много. Но качество становилось хуже, как и у всех едущих со мной матерей.

Питались мы в дороге очень плохо. На день выдавали 400 грамм хлеба. На обед черпак жидкого постного супа, напоминающего воду, в которой вымыли посуду. Две ложки пшеничной каши. Утром и вечером кружку кипятка без заварки.

Как же при таком питании у кормящих матерей могло быть полноценное молоко? Оно стало водянистым, малокалорийным. И все же это было молоко матери.

Восемнадцать дней мы ехали до Томска. Долгую, мучительную дорогу до Томской тюрьмы вспоминаю, как тяжелый кошмарный сон.

Две матери разрезали себе горло стеклом. Истекли кровью. Спасти их не удалось. Утром из вагона вынесли их трупы. Одна мать соплема с ума. Ночью и днем все время кричала, рыдала, хохотала, выла, билась головой, кусала себя и тех, которые ее пробовали сдерживать.

Ребенка у нее отняли. Без матерей остались трое детей. Одного из них взяла я кормить своей грудью, а двух - другие матери. Горе нас сблизило. Мы были, как одна семья, осиротевшая, обреченная...

Воды горячей не было. По нашей просьбе конвой на остановках приносил холодную воду. Мы грели ее на "бурмуйке", но ее не хватало на то, чтобы хотя бы подмывать детей, простираять пеленки. К тому

27

же холод был такой, что разворачивать детей нельзя было. И пришлось придумать другой способ.

Когда утром нам приносили пайки хлеба, довески к ним были приколоты деревянными палочками. Мы их сохранили. Этими палочками мы соскребывали кал с пеленок, которую вытаскивали из-под ребенка, не разворачивая его. Ещё нее подкладывали "чистую", сухую. Но чистыми они уже не были. Из-за отсутствия достаточного количества горячей воды мы не имели возможности простирывать, как следует, детское белье. От этого пеленки стали грязно-зелеными, одеревянели.

Очищенные и выкрученные мы сушили их, как и рубашенки детские, чулочки, оригинальным способом, придуманным нами.

Мы... обматывали их вокруг своих ног, рук, спины, груди... и так сушили...

Наконец-то кончилась наша бесконечная дорога. В Томск поезд пришел вечером. Все уже было бело кругом. Глубокий снег лежал на земле.

Вдоль поезда длинной колонной выстроили заключенных. Все смотрели на нас, матерей с детьми на руках, которых выстроили у двух наших вагонов. Посчитали и конвоиры повели нас к грузовикам.

Погрузили на грузовики и повели в тюрьму. По дороге матери кричали, плакали... Прохожие останавливались. Долго смотрели вслед, будто не могли прийти в себя от страшного зрелища. Без боли щемящей на него нельзя было смотреть. На грузовиках матери с маленькими завернутыми детьми. По краям грузовиков конвоиры с направленными на матерей с детьми винтовками.

Я не плакала и не кричала. Крепко прижала к себе Галю. В этот день у нее наступил кризис в болезни. Температура с 40,8 упала до 35,6°. Она так ослабла, что уже не брала грудь. И думала только об одном — довезу ли я ее живой? Носик, лицо было холодное, в капельках пота. Я нагнулась, дышала над ней, чтобы согреть ее.

Потом, как увижу грузовик, полный матерей с детьми, конвоиров с направленными на нас винтовками, вспоминаю, что произошло, куда нас везут...

И в этот момент, помню, не оставляла в покое, сверлила мозг одна мысль. Душу охватывала щемящая тревога. Тревога не только за ребенка, но тоже за родное. Как же это? При Советской власти меня без вины сажают в тюрьму? Меня с ребенком?! Я ничего не понимала. Голова горела. Ведь в приговоре было написано, что осуждена я на заключение в трудовые исправительные лагеря. Почему же меня везут в тюрьму? Я чувствовала, что силы вот-вот покинут меня. Я сделала огромное усилие над собой, чтобы не уронить ребенка.

В этот самый момент по дороге в тюрьму, когда меня охватила тревога за моего ребенка, в котором еще теплилась жизнь, я почувствовала как из самой глубины души поднимается еще одна тревога за близкое, родное... Что произошло в стране, в Партии? Почему расстреляли Васю, в котором не только я была уверена, гордилась, как верным сыном Родины? Почему меня, его жену, как тяжкого преступника, везут с ребенком в тюрьму?

Зачем эта винтовка, дулом направленная на меня, овчарка с окленными зубами?..

Нет, от всего этого можно сойти с ума!...

Что, что произошло у нас в стране, в Партии?!...

И тревога за это, дорогое мне, поднялось во мне, захлестнуло все.

24c

г. Дрезден  
март

В этот момент я почувствовала, как возвращаются силы, воля.  
Жить, жить!

Пересилить все. Я осталась чиста перед Партией. Я еще буду нужна ей.

Мы подъехали к тюрьме. Так вот какой он, этот огромный "Мертвый дом"., знаменитая царская "пересылка". Привели нас через несколько ворот, которые открывали перед нами и сразу же впустили нас, закрывали. Поднялись по узкой лестнице с переходами и пошли по длинному коридору. Мне запомнился этот коридор в тюрьме.

63 матери идут с закутанными грудными малютками. Шаги наши отдаются в сердце, в мозгу... И кажется нам, что мы отсчитываем последние шаги перед своей могилой...

Верные стражи по-прежнему зорко охраняют, сопровождают нас. Конвоиры с овчарками остались во дворе тюрьмы. Нас же до дверей камер ведут конвоиры с винтовками на перевес. На их лицах настороженность.

Шутка ли? Привели жен врагов и изменников Родины.

Остановились. Надзиратель открыл тяжелые, железные двери с глазком, и мы зашли со своими маленькими, рожденными недавно, детьми, в этот каменный гроб... Матери громко плакали, как-то надрывно. Слышим . Лязгнули ключи в замке. Это крепко, накрепко закрылась за нами большая железная дверь тюремной камеры, надолго отголосившей нас от жизни, радости, семьи и всего живого...

Когда за дверью затихли шаги надзирателя, матери, будто сгенившись, перестали плакать, стало тихо. Но в тишине этой было что-то страшное, надрывающее душу. Так, в этой тишине, мы стояли в оцепенении, тесно друг возле друга.

И было у всех одно ощущение, — будто стоим мы у своей собственной могилы...

Кто-то из детей заплакал.

Мы услышали, как одна мать глухим голосом сказала: "Похоронены..."

И опять тишина, жуткая, такая, от которой мурашки по телу пробежали.

Вдруг раздался крик:

"Нет, нет, дорогие, родные сестры, не похоронены мы. Идите сюда, скорее, читайте!"

Так кричала, звала нас одна из вошедших в камеру матерей.

Подошли. Читаем вырезанные на нарах слова:

"Жены, мужайтесь! Все будет со временем вскрыто. Мы и вы будем оправданы."

А под этими словами ряд подписей. По мере того, как мы разбирали подписи, раздавались крики. Матери плакали. В фамилиях узнавали многих ленинградцев.

Одна мать нашла фамилию своего мужа...

не запомнилась одна подпись, —

Шумский.

Разместили нас в двух грязных холодных, полутемных камерах.

Высоко на потолке лампочка. Она тускло светит. На стенах следы от раздавленных клопов. Они безжалостно кусают детей, нас.

Тельца наших детей от грязи, от того, что мы их не купаем, от укусов клопов, в нарывах.

В камере удушливая вонь. Из переполненных параш твердое и жидкое содержимое вытекает на пол и замерзает.

На окнах решетки. Стекла окон изнутри покрыты льдом. К полуночи лед оттаивает. Вода стекает на пол. Сыро, холодно.

Чтобы как-нибудь спастись от клопов и быть подальше от обледенелых окон и покрытых зеленою плесенью стен, мы отодвинули от них деревянные топчаны, на которых одетые лежали день и ночь.

Возле нас лежали наши дети.

Три раза в день под конвоем выводят нас оправляться. Детей на это время оставляем на дежурную мать. Сдвинутые топчаны образовали сплошные нары. Вставали мы с них уже с трудом, обессиленные, шатались. В глазах темнело. Эта крайняя слабость была от того, что день и ночь кормили грудью детей. Питались плохо. Те же 400 грамм хлеба сырого, кислого. Тот же черпак баланды, две ложки каши. Вечером и утром кружка кипятка.

Ходить от слабости мы уже не могли. Все вермя лежали. Когда выводили нас оправляться в тюремный двор, где к уборной нельзя было пробраться, так как она вся была в глыбах льда, мы шли гуськом, держась друг за друга.

Упорно, настойчиво мы ежедневно требовали к себе начальника тюрьмы.

Но он не являлся. Намного позже мы узнали, что он говорил: "Ну чего я буду ходить к ним? У меня строгорежимная пересыльная тюрьма. Такая категория заключенных, как члены семьи, жены, у меня впервые. Я применяю к ним тот же режим, как и ко всем политическим преступникам. Других установок я не получил".

А между тем, положение наше становилось все тяжелее. Дети стали болеть. Двое детей на руках у матерей, на наших глазах, умер-

ли. Еще две матери порезали себе горло стеклом. Их спасли. Позже я видела их в лагере. Остались без голоса. Шея всегда в повязке. Из горла в отверстии на шее торчит трубочка.

Мать, потерявшая рассудок, продолжала кричать, рыдать, смеяться, выть. От этого всего можно было сойти с ума. Мы чувствовали, что гибнем...

И мы решили. Нам ничего не оставалось делать, как объявить голодовку.

Четыре дня мы не принимали пищу. Подвезет на коляске дежурный надзиратель к дверям камеры бачок с баландой, заглянет в глазок и кричит:

"Мамки, принимай баланду".

Молчим. Слышим, лязнает ключами. Отворяет дверь и опять: "А ну-ка, подходи с мисками." Не подходим.

Так четыре дня привозили и отвозили бачки обратно. Хлеб тоже не принимали. Пили горячую воду. С нар уже совсем не поднимались. Надзирателя просили передать начальнику тюрьмы, что будем голодать до тех пор, пока не придет и не выслушает наши требования.

На пятый день голодовки утром к нам явилась целая комиссия из пяти человек в форме НКВД.

Говорить с ними камера поручила мне. Я согласилась, но с условием, если матери будут вести себя дисциплинированно, спокойно и чтобы особенно следили за душевнобольной.

Сначала все было, как говорились. Матери тихо лежали. Возле них дети.

Слышим звук, который леденил душу. Ключи большие вставались

в большой замок в толстой, обитой железом двери. Они и произвели этот, режущий слух, звук. Он до сих пор в ушах.

Вот отворяется дверь. Входят и останавливаются у порога.

Посредине камеры с нар поднимается одна мать. Все остальные остаются лежать. На вставшей матери хорошее добротное пальто, меховая шапка. Да и все матери хорошо одеты. Только этого не видно, потому что они лежат. На руках у вставшей матери ребенок, аккуратно завернутый в красивый "конверт".

Это я с Галей.

Внешность свою с ребенком я специально описала, чтоб можно было нас представить на фоне тюремной камеры.

Вошедшие не воздоровались с нами. Позже я узнала, что староста камеры должна была при появлении вольных громко сказать: "Внимание".

Этого мы не сделали, так как не знали. Стоя у дверей пришедшие молча осматривали камеру.

Смотрят на стены, окна, потолок. На нас не смотрят.

Я обращаюсь к ним: "Пройдите, пожалуйста, в камеру и посмотрите, в каких условиях мы здесь живем с грудными детьми."

"А вы кто, уполномоченная с нами говорить?" - спрашивает меня стоящий впереди. "Да", - отвечаю я. "Что же вы хотите? Почему пищу не принимаете? Вы не в санаторий приехали".

Матери лежат спокойно.

Я отвечаю ему: "Мы просим вас перевести нас в другую камеру. Пришлите нам врача. Больных матерей и детей надо положить в больницу. Мы кормим грудью детей, а потому нам необходимо улучшить пи-

тание. Молока у нас почти уже нет. Врач нам необходим. Дети наши болеют и умирают. Тела их покрыты нарываами от грязи. Мы не купаем их. Дайте нам горячей воды, корыта, тазы, мыло. Переведите нас в лагерь. Почему мы в тюрьме? В приговоре написано о заключении в лагерях. Если мы, неизвестно за что, отвечаем за наших мужей, то дети наши ведь остались свободными гражданами. Поместите их в детские ясли, куда мы будем приходить их кормить, а нам дайте работу."

Пришедшие слушали меня внимательно, не перебивали. Я говорила и одновременно вглядывалась в их лица. Хотелось проникнуть в их сердца, узнать, что они думают, переживают в этот момент при виде потрясающей картины. Матери с грудными детьми за решеткой... Вы же советские люди, думала я о них. Но на лицах их была замкнутость. И я поняла, что истинное отношение свое к этой трагедии они не покажут. Не смогут показать. Ведь это были только исполнители карающей нас руки. Раздумья мои об этом вдруг были прерваны. Произошло что-то страшное. Только я произнесла слова "детские ясли", как потерявшая рассудок мать, каким-то образом, вырвавшись из рук державшей ее, вскочила с нар с ребенком на руках.

"Подлецы, убийцы, палачи! Берите, берите моего ребенка!"

Кричала она, разъяренная. И в одно мгновение, в которое мы не успели опомниться, с криком... бросила своего ребенка на пришедших к нам.

К счастью, матерям сразу удалось подхватить ребенка. Он не упал, не ушибся. Только, сильно перепугавшись, громко и так жалоб-

но заплакал.

А мать ребенка силась в припадке безумия. С пеной у рта она искусила себегубы, пальцы, размазала кровь на лице. Ее с трудом сдержали.

Спящая у меня на руках Галя от шума вздрогнула, проснулась. Чтобы ее успокоить, я поспешила дать ей единственное утешение. Она сразу с поспешной готовностью охотно приникла к моей груди, затихла.

Я продолжала стоять на нарах с ребенком в руках.

Пришедшие к нам молчали.

В/ Стояли спокойно, не глядя на нас, не показывая, какое впечатление на них произвел поступок безумной.

Потом, стоящий впереди, как видно главный, закричал: "Ах так! Мы хотели вам помочь, а вы нас подлецами обзываете! Ну так сгните здесь, контрики".

Повернулся к дверям. За ними все. Вышли. Опять мы услышали, как звякнули ключи. Крепко закрыли дверь нашей камеры. И опять этот звук закрываемой двери на замок больно коснулся открытой, кровоточащей раны в сердце...

Все стихло. Кончено.

Только одно короткое мгновение в камере было тихо. Потом вдруг поднялся душу разливающий общий рев, крик. Перепуганные дети заплакали. Еще три дня мы не принимали пищу.

На четвертый день второй голодовки утром до раздачи пищи мы опять услышали, как звякнули в замке ключи. Кто-то открывал дверь.

Притихли, насторожились. В этот момент я посмотрела не на входящих, а на смотрящих матерей. О, эти глаза... Они и сейчас передо мной. Я не могу их забыть. Как смотрели они на отворяющуюся дверь, на входящих... Так только смотрят умирающий. Он знает, что жизнь уходит от него, но... как хочет он еще жить...

О, как хотели мы жить и сохранить жизнь своим детям... Я увидала входящих. Это был начальник тюрьмы. С ним зашла в камеру маленькая, худенькая, ничем особенно не приметная молодая женщина.

Но... запомнила я ее на всю жизнь.

Круглое с румянцем на щеках лицо. Голубые глаза, добрые и ласковые. Взгляд открытый, прямой. Во всей ее фигурке чувствовалась решительность, уверенность в себе. Гладко причесанные светло-русые волосы, заплетенные туго и заложенные венчиком на голове, как любят причесываться сибирячки.

Это была детский врач.

Какое-то мгновение начальник тюрьмы и врач молча стояли у порога.

И опять, на этот раз уже совсем ослабевшая, с трудом поднялась, встала на нарах с Галей в руках.

"Что вы еще хотите нам сказать? Нам уже все ясно, - сказал начальник, обращаясь ко мне.

Значит, первый раз он тоже приходил.

"Мы матери, написали письма т.Сталину, Крупской и Горькому. Просим вас, пошлите по почте", - обратилась я к нему, протягивая три письма, написанные мной по поручению камеры. О том, что Горький умер, мы не знали.

Начальник взял у меня письма, что-то сказал врачу и вышел из камеры. Лежащие ближе к двери слышали, как он сказал врачу:

"Осмотрите детей и матерей. Доложите мне."

Долго у нас в камере пробыла детский врач. Каждого ребенка и мать она внимательно осмотрела. Спрашивала и все записывала, записывала в своей тетрадке.

И все мы видели, как она, часто отворачивал лицо, чтобы никто не видел, платочком вытирала слезы...

Эта маленькая, совсем еще молодая врач, с первого взгляда ничем не приметная, но если взглянуть в ее глаза, ясные и ласковые, излучающие такой свет, от которого на сердце становится как-то легко и боль куда-то отходит, - эта врач сумела резко изменить нашу жизнь в тюрьме, спасти детей.

Больных детей и матерей врач положила в больницу. Оставшимся в камере матерям выписала усиленное питание. Добилась перевода нас в другую камеру. Потребовала снабжать нас ежедневно горячей водой для купания детей и стирки белья. Достала для нас корыто, мыло, тазы. Все требования ее были выполнены.

А самым главным и настойчивым требованием врача было перевести нас, согласно написанному в приговоре, в лагерь, где мы будем работать, а дети будут помещены в ясли.

Для этого она поехала в Москву.

Позже мы узнали, что эта детский врач добилась в Москве приема у какого-то большого начальника НКВД. Подала ему подробную докладную записку с описанием вопиющих условий, в которых находятся в Томской тюрьме матери с грудными детьми.

с.г. *Джан*  
*записка*

В этом своем письменном докладе врач ставила вопрос о необходимости пересмотреть закон об ответственности жен и особенно о заключении их в тюрьмы и лагеря с грудными детьми, тем более, что у них еще есть дети, которых разлучили с матерями и отправили в разные детдома Союза.

Но глас ее остался гласом вопиющего в пустыне...

И все же она коренным образом изменила к лучшему судьбу, спасла наших детей.

В сердце так отчетливо запечатлелся светлый образ этого детского врача. Где же ты, святое существо? Где ты, наша добрая мать?! Я ведь даже имени и фамилии твоей не запомнила. Как же сказать тебе, передать большое спасибо от 63 матерей из Ленинграда. Как хотела бы я поклониться тебе до самой земли и сказать от души слова признательности, благодарности и любви к тебе 63-х матерей, раздавленных страшным 37-м годом, матерей, убитых горем, с израненными сердцами, матерей, запертых крепко и нагло в Томскую тюрьму.

Знаешь ли ты, что своей любовью к человеку, всем тем, что ты сделала для нас и для наших детей, ты вернула нас к жизни не только физически, но и морально.

И не только вернула, а своим примером заставила еще больше полюбить жизнь. Эту неиссякаемую, безграничную любовь к жизни я и решила с молоком матери передать своему ребенку, разделившему в заключении печальную участь мою.

С тех пор прошло 27 лет... Но я не перестаю думать об этом детском враче. Вижу ее перед собой. Окунувшись в человеческое

горе, она не осталась к нему равнодушной.

В маленьком, хрупком существе уместилось такое большое сердце, полное света, ласки и жертвенной, безграничной любви к человеку.

Но вот светлые образы сменяются, чередуются темными страшными видениями. И против желания, против воли воскресают в памяти призраки. Они поднимаются, как гнилой тумак ночью над омутом. И чудится, как гнилое тело, удущливая вонь стелется, не дает дышать...

В тюрьме была еще одна внутренняя тюрьма. В эту тюрьму попадали по доносам "стукачей" - провокаторов многие женщины, ни в чем не провинившиеся на воле, ни в тюрьме.

Этими "стукачами" - провокаторами были тоже заключенные, но потерявшие человеческий облик. Без содрогания и ненависти невозможно о них вспомнить. Надеясь на то, что их раньше отпустят на волю, они дополнительно "выявляли врагов". Подслушивая разговоры, они извращали их, добавляли свое, клеветали.

Эти женщины не нашли в себе силы выдержать тяжелое испытание. Громадное же, подавляющее большинство заключенных жен, не потеряли своего лица, хоть и невероятно тяжело было сохранить под могильным камнем тюрьмы бодрость, веру.

Тяжело было под этим могильным камнем... Я сопротивлялась изо всех сил.

Помню. Днем и ночью в тюремной камере полумрак. Под самым потолком тускло светит одна лампочка. От сушившихся у небольшой железной печки пеленок, нашего и детского белья - испарения.

От испарений, от сырости стелется по камере туман, призрач-

ний, действующий на болезную психику, воображение.

Ночью во сне матери стонут, вскрикивают. Дети тоже спят неспокойно. Нас и их кусают клопы, от которых некуда деться.

Детей мучают нарвы на их нежных тельцах. Нарвы от грязи, от того, что мы не купаем детей, не стираем как следует их белье, за неимением достаточного количества воды, мыла.

От отсутствия воздуха, чистоты, от постоянной промозглой сырости, от уже некачественного материнского молока дети все больше ослабевали, стали болеть. Двое детей умерло.

Я чувствовала, что ослабела до крайности. В дни нашей головокружки по ночам у меня начались странные явления, похожие на галлюцинации.

Происходило это так, только хочу я, уставшая закрыть глаза и уснуть, как вдруг, явственно вижу: темная комната. Лицом к стене стоит Вася. Невидимой в темноте рукой наводится на него свет. Раздается выстрел. Вася падает... Я вскрикиваю, открываю глаза. Кошмар исчез.

Вот тогда я поняла, что так можно сойти с ума, что я на грани безумия. И я собрала в себе все силы, чтобы до этой грани не дойти.

Чтобы кошмары не повторялись, я старалась ночью не спать, не закрывать глаз. Спала днем, когда дочка засыпалась. А ночью, крепко прижав к себе мою драгоценную, маленькую спящую Галю, я разговаривала с ней:

nef  
nope  
D

Ты подрасташь, и я с тобой  
В Сибирь поеду, где бывало  
Тебя в тюрьме, в тиши ночной

В слезах и в скорби паленала.

И ты увидишь, дочка, там  
Где были лагери печали,  
Заложен камень городам<sup>\*</sup>  
Их к жизни новой мы подняли.

Увидишь ты, как широка,  
Как беспрадельна даль родная.  
Тебе dochurka моряка,  
Любовь к той дали завещаю.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Через два года нас, матерей с детьми, перезели из Томской тюрьмы в Трудовой исправительный лагерь на ст. "Я" по Томской железной дороге.

Построили нас и повели к вокзалу. Дорога к нему шла через несколько улиц города.

Вот идет по улицам Томска этап. 63 матерей с закутанными детьми на руках. По бокам, впереди и позади конвойры с винтовками на перевес, с овчарками.

Винтовки дулом направлены на нас...

Проходящие граждане останавливаются, снимают шапки, кланяются... Старая женщина подходит к одной матери. Крестит ребенка. Видим. Быстро, чтобы не заметил конвойир, сунула в руки матери ку-

\* Мы уже знали, что в лагерях будем работать на строительстве нового города.

сок хлеба. Но он увидел и отогнал ее.

А мы идем, идем дальше. Вот и вокзал. Состав с окнами в решетках. Это для нас.

Сейчас нас погрузят и мы будем продолжать свою дорогу страданий...

Но что это? На душе будто стало легче... Будто коснулась ее чья-то ласковая рука. Это от человеческого привета, от простой маленькой теплоты, заботы, сочувствия.

Спасибо вам, люди...

\* \* \* \* \*

И вот мы уже в лагере "Я". Это специальный женский лагерь. В нем девять тысяч заключенных женщин, главным образом члены семьи, жены. Есть и уголовницы. Их называют "бытовички", нас "контрики".

Над лагерем с таким большим скоплением женщин часто пролетали самолеты бреющим полетом. Летчиков интересовало, что это за необычайный лагерь с женщинами, о чем они узнали. Но вскоре эти полеты были запрещены.

В лагере "Я" находилась большая швейная фабрика из 10-ти цехов. По конвейерному способу мы, заключенные женщины, шили на моторных машинах обмундирование для армии.

Мы были горды тем, что в эти тяжелые годы для нашей страны, работали на фронт, на защиту Родины. По сравнению с громадным бедствием, которое принесла война, наше личное горе ушло куда-то на задний план, как-то побледнело.

Мы работали быстро, хорошо. Давали 150, 200 и 250 % выполнения плана.

Несмотря на тяжелейшие условия жизни и работы в лагере на общих работах и на фабрике, при полуголодном существовании, в плохой одежде члены семьи, жены, в подавляющем большинстве не потеряли своего лица коммунистки, гражданки. Это можно смело сказать о всех, за исключением двух, трех выродков, оказавшихся "стукачами", провокаторами.

Своим поведением, энтузиазмом, верой в правду женщины, члены семьи, жены сыскали общее уважение в лагере среди заключенных. Сами работая, они проявляли заботу о других, морально поддерживали друг друга.

К ним относится Шапочникова Людмила, руководитель Ленинградского Совета Профессиональных Союзов, жена второго секретаря Ленинградского Обкома партии товарища Чудова.

Но этот хороший порыв человеческой души был истолкован, как контрреволюционная деятельность. В этом помогли "стукачи"-провокаторы. Людмила Шапочникова была изъята из лагеря и впоследствии расстреляна.

Как не вспомнить добрым словом женщин, проявляющих в гнетущей действительности заключения, изгнания из жизни, разлуки с семьей, детьми, знаяших, что многие из их мужей уже уничтожены, расстреляны, подлинный героизм.

И я вспоминаю вас, с которыми сблизило меня горе: Щербак Галина, Яновская Вера, Павловская Зоя, Розова Нина, Смирнова Ольга, Волина Берта, Шимановская Полина, Кривицкая Антонина, Жарикова, Реутова, Читишвили Тамара, Глускина Раи и много, много других замечательных женщин. Они образцово поставили пошив обмундирования для армии. Развернули и осуществляли по настоящему трудовое со-

члены  
мф.  
члены  
9.50

ревнование. Благодаря им фабрика систематически перевыполняла производственный план.

Но вот опять светлое чередуется с мраком, давящим, гнетущим...

Грозой для нас, для всей фабрики был приезд из Москвы военного инспектора из Интендантства.

Приехав, он прежде всего заходит на склад готовой продукции. Вытащит из пачки на выборку гимнастерку или брюки и... тут начинается наша казнь. Он входит в цех.

Когда я вспоминаю при этом наши мучения, я могу их сравнить только с утонченными пытками инквизиции.

Вот он подходит к мотору, останавливает его. Машины наши сразу замерли.

Вместе с ними замирают наши сердца. Мы склонились над останавливающимися машинами. Знаем, чувствуем, что надвигается гроза. В руках неоконченная деталь.

Вот останавливается он посередине цеха. В руках у него пара готовых брюк. Он всеми силами пробует отрывать пуговицы, хлястики, тянет в обе стороны штанины: в цехе тихо. Он прикладывает такие силы, что швы трещат. И мы слышим как они трещат. Это приговор нам... Мы знаем, что доброкачественная готовая продукция, так как в каждом цехе приемщица ее, заключенная, зная чем грозит в лагере брак, тщательно и приличиво проверяет, но он старается найти несуществующий брак, "ищет блох".

Просто этот инспектор "дежиморда", "жандарм", как мы его называли, был заинтересован в том, чтобы браковать во что бы то ни стало даже тогда, когда брака нет. Тогда он заберет продукцию вторым или третьим сортом. Для него это будет дешевле, а для фабрики, для командования лагерем большой убыток.

А для нас заключенных, работниц фабрики за обнаруженный инспектором брак — карцер, триста грамм хлеба в день и вода.

Вот почему замирали наши сердца, когда этот палач заходил в цехах.

Размахивая брюками, штанами которых он всеми силами тянул в разные стороны, от чего трещали швы, он с пеной у рта, разъяренно кричал:

"Что же вы, контрики поганые, на воле с мужьями родину продавали и здесь на фашистов работаете?! Не выйдет! Сгноим вас здесь! Не увидите вы волю никогда! Вы что хотите?! Чтобы боец нагнулся к пулемету, брюки у него треснут и он з.....у потеряет. Нет, не удастся." И выругался нецензурно.

Сидим мы за машинами. Молчим. Многие плачут. Вижу кто-то из женщин со своей табуретки без сознания на пол.

В один такой день, когда мы шили теплое обмундирование, стеганные брюки, бушлаты, ушанки, варежки, приехал за готовой продукцией наш мучитель.

Получая этот пошив, мы особенно волновались. Вата была плохая, засоренная, отчего беспрерывно ломались иголки. Очень тяжело было шить быстро и мы знали, что нормы не дадим, что хлеба получим 300—400 грамм на день и миску баланды.

А голова кружилась и от голода темнело в глазах...

И вот входит инспектор в цех. Остановил мотор. Вышел на середину цеха. Поднял высоко пару готовых стеганных на вате брюк. Смотрим. Выковыривает он из гульфика слой ваты, показывает нам.

"Что это такое? Вы что? Мало вам вашего срока? Может добавить! А то и совсем к стенке, как последнюю падаль! На Гитлера работаете?!"

Кричит с пеной у рта, захлебывается от злости, ненависти:

"Вы почему, как следует, не отепляете гульфик?! Вы что, против того, чтобы после войны у нас дети рождались, против советского поколения! Хотите, чтобы у бойца детородный член замерз?! В порошок вас изотру! Сгноим, контра проклятая, фашистки!"

Я не могу себе простить, что не запомнила фамилию этого зверя в образе человека. Я дала себе слово узнать его фамилию у своих товарищ по заключению. Может быть кто-нибудь из них запомнил.

Жили мы в лагере в деревянных бараках на 300 человек в каждом. В бараке, закрепленные к полу, стояли так называемые "вагонки" в два этажа, тесно с маленькими проходами. Каждая "вагонка" имела четыре лежащих места, два наверху и два внизу. На каждом таком месте размещалось нас по одной. Это была наша "квартира" на долгие годы. В этой "квартире", на которой мы еле умелись, мы умудрялись создавать уют. В бараке строго соблюдалась чистота, порядок. Но зима в Сибири долгая, лютая. И мы всегда мерзли. Мерзли еще и потому, что не хватало не только внешнего тепла, но и внутри нас. Питание было очень плохое.

За сто процентов выполнения плана получали четыреста грамм хлеба, миску баланды. За выполнение больше ста процентов, то есть за ударную норму получали пятьсот грамм хлеба, миску баланды и на второе кашу. За стахановскую норму сто пятьдесят, двести, двести пятьдесят процентов получали шестьсот грамм хлеба, баланду по лучше и кашу с постным маслом.

Но стахановскую норму все тяжелее и тяжелее было давать, так как мы совсем обессилели.

В результате переутомления и голода началось повальное заболевание пелагрой (дистрофия III стадии). Очень много женщин от нее умерло. Заболела этой болезнью и я. Долго пролежала в больнице. Полутруп. Кожа да кости. Удивляюсь, как выжила.

Эта болезнь свалила нас совсем из во-время.

Напряженное и тяжелое положение было в это время на фронтах Отечественной войны. Это было перед переходом от обороны к наступлению. От нашей фабрики требовали все больше и больше обмундирования для армии. Мы во всю нажимали на выполнение и перевыполнение плана.

В это время я работала на фабрике основоположец краев. В смену для стопроцентного выполнения надо было основорвать четыре туника, содержащих в себе четыреста деталей гимнастерок для одного конвейера.

По лекалам я должна была проверить точность кроеного в лаборатории фабрики материала. Лишнее надо было осторожно срезать большими ножницами или ножом и давать на машины.

Делать все это надо было с исключительной точностью, а то на машинах пойдет брак, и быстро.

С одной стороны и с другой стороны цеха сидят машинистки, по семьдесят пять человек. Два больших мотора приводят в движение швейные машины.

Нагнувшись к ним, машинистки шьют гимнастерки и брюки для солдат, начи и политсостава армии. Шьют очень быстро.

В эту последнюю мою ночную смену работы на фабрике я уже с начала работы чувствовала себя плохо. Но об этом нельзя было и

думать. Болеть не было времени. Было уже пять с половиной утра. Через полчаса остановится мотор, кончится смена. Я оснастюила шесть тюков. Значит, с конвейера сходит уже шестьсот пар брюк и с другого конвейера у другой оснастюицы тоже сдана на конвейер шестая сотня кроеных гимнастерок. Мы с ней соревнуемся и не отставаем друг от друга.

Щутка ли сказать! Смена еще не кончилась, а мы вместо четырехсот пар сложных бриджей дали уже шестьсот! Мы любили больше шить для рядового состава. Брюки и гимнастерки проще. Их легче шить. Галифе, бриджи, френчи были сложнее, а потому шить и было труднее.

В эту смену напряжение было особенное. Брак вообще не допускался. За малейший брак сажали на триста грамм хлеба и черпак баланды в день.

Машинистки не шьют, а мчатся, гонят с такой быстротой, что в цеху стоит оглушительная трескотня от вертиящихся колес швейных машин.

И все им мало. Все время только и слышу со всех сторон: "Осноровицца, подавай! Живее подавай!"

А во мне внутри так и поднимается волна. Безудержной радостью она переполняет меня до краев, захлестывает. "Еще, еще! Дать сегодня семьсот пар вместо четырехсот, то есть двести пятьдесят процентов." И я гоню во всю!

Иначе нельзя.

Во время перекура в 3 часа ночи, на который давалось десять минут, когда остановился мотор, даже самые заядлые куряки не побежали в курилку.

Дало в том, что в этот маленький перерыв была летучка. Наша бригадир Медведева, тоже заключенная жена, член семьи, из Омска, прочла нам печальную сводку: "Нашиими частями оставлен Киев."

Все женщины в цеху заплакали. Те, которые с Украины и из других мест.

А Медведева, хорошая, мы ее очень любили, решительно как-то выпрямилась, посмотрела на плачущих женщин и громко, чтобы перекричать плач, закричала:

"Бабоньки, слушайте меня! До окончания смены осталось три часа. Мы обязательно должны дать сегодня семьсот гимнастерок и семьсот пар брюк, то есть двести пятьдесят процентов выполнения плана.

Так нахам, сестренки! Это будет наш ответ фашистам.

За Киев! За нашу дорогую Родину!"

И когда мотор привел в движение все машины, над ними низко с материалом в руках склонились уже не плачущие, беспомощные, убитые горем женщины, а бойцы.

Они работали на фронт.

Прошло двадцать семь лет, а они перед глазами. Помню, не могла как-то сразу приступить к своей основовке.

Смотрю, смотрю на конвейер...

Вот склонились над своими машинами сидящие рядом, никогда не разлучающиеся две сестры Тухачевского. Они прекрасно и очень быстро шьют. Материал в их руках так и летит, летит. Лица серьезные, сосредоточенные, губы плотно скаты. Вот жена Якира, маленькая му-жественная женщина с копной волос на голове. На лице застыло вы-

б  
мечты  
"Мурзик"  
Санкт-Петербург  
он 2-9

ражение горечи, страдания... Но держится она всегда твердо, бодро. Вся ушла в свой внутренний мир, где живут дорогие ее сердцу образы мужа и сына. Как-то я сказала ей: "Помните, мы с вами сидели в президиуме Всесоюзного совещания жен начальствующего состава в Москве? Я была делегаткой от Балтфлота, вы от Армии. И сидели рядом со Сталиным."

Она посмотрела на меня и я увидела в ее глазах такое, что запоминается на всю жизнь. В них было столько горечи, боли и вместе с тем гнева, ярости.

"О, если бы я знала тогда, с кем я сижу рядом..." — сказала она.

Вот сестра Якова Михайловича Свердлова. Она детский врач. Арестована она была, как теща Ягоды, жена которого ее дочь. Работать по ее специальности в лагере ей не доверили. Ей 55 лет. Она близорука. Сидит на куче готовой продукции гимнастерок и брюк и очищает их от наметочных ниток. Еле выполняет 46-48% плана. Получает 300 грамм хлеба и черпак баланды в день. Мы ее подкармливаем. Вот наш ленинградский руководитель профсоюзов Людмила Шапочкикова, жена второго секретаря Ленинградского Обкома партии товарища Чудова. В прошлом работница текстильщика, одна из первых комсомолок, начавших работать в комсомоле с его организаторами Васей Алексеевым, Петром Смородиным. В лагере она ведет большую работу, особенно заботится о нас, материах с детьми. Когда меня особенно охватывало отчаяние, я, бывало, подойду к ней с Галей на руках, посмотрю пристально ей в глаза, говорю: "Что делать?!..."

А она, как-то ласково, успокаивающе положит руку мне на плечо и говорит: "Бодрись, не забывай, что мы из Ленинграда. Не отчаивайся."

быв  
жизни  
5  
киндр  
денежки  
столиц  
- с. 1-9

А это жена секретаря МК, замечательная артистка балета Лерхе. Она всегда болта, подтянута. Во всякую погоду на свежем воздухе делает зарядку, упражняется в движениях, чтобы мышцы не отвыкли от ее специальности балерины.

Вот наша молодая ленинградская художница Лекоренко. За ее всегда сияющее, вдохновенное лицо не померкнувшее ни в тюрьме, ни в лагере, мы называем ее Весной.

Всех не перечесть. Замечательные женщины, энтузиастки, талантливые. И спрашивается, за что все они были изгнаны из жизни?!

На фабрике из десяти цехов в двух работали уголовницы. Они знали, что к ним лучше относится кое-кто из командования лагеря, чем к нам, контрикам. И они делали, что хотели. План выполняли на 42-46%. Сознательно выводили из строя машины, ломали иголки. Сядет спиной к машине, мотор работает, а ей наплевать. Никакие уговоры бригадира, начальника цеха на нее не действуют. "Пусть контрики, жены работают, а мы посмотрим."

За порчу машин, саботаж, сажали их в карцер, прибавляли срок, а им хоть бы что, привыкли.

Да...

Так вот, приближалась новая смена к концу. Через полчаса остановится мотор. Загудит гудок и разойдемся мы по своим баракам. Выпьем кружку кипятка с кусочком хлеба, оставленного с пайка, и отдыхать, отдохнуть...

Притащила я из кладовой цеха седьмой тюк с краями, нагнулась над ним, чтобы развязать, освободить, дать на машину, и семьюсот гимнастerek сойдут с конвейера. Я торопилась и меня торопили ма-

А это жена секретаря МК, замечательная артистка балета Лерхе. Она всегда бодра, подтянута. Во всякую погоду на свежем воздухе делает зарядку, упражняется в движениях, чтобы мышцы не отвыкли от ее специальности балерины.

Вот наша молодая ленинградская художница Лекоренко. За ее всегда сияющее, вдохновенное лицо не померкнувшее ни в тюрьме, ни в лагере, мы называем ее Весной.

Всех не перечесть. Замечательные женщины, энтузиастки, талантливые. И спрашивается, за что все они были изгнаны из жизни?!

На фабрике из десяти цехов в двух работали уголовницы. Они знали, что к ним лучше относится кое-кто из командования лагеря, чем к нам, контрикам. И они делали, что хотели. План выполняли на 42-46%. Сознательно выводили из строя машины, ломали иголки. Сядет спиной к машине, мотор работает, а ей наплевать. Никакие уговоры бригадира, начальника цеха на нее не действуют. "Пусть контрики, женщины работают, а мы посмотрим."

За порчу машин, саботаж, сажали их в карцер, прибавляли срок, а им хоть бы что, привыкли.

Да...

Так вот, приближалась ночная смена к концу. Через полчаса остановится мотор. Загудит гудок и разойдемся мы по своим баракам. Выпьем кружку кипятка с кусочком хлеба, оставленного с пайка, и отдохнуть, отдохнуть...

Притащила я из кладовой цеха седьмой тюк с краями, нагнулась над ним, чтобы развязать, освободить, дать на машину, и семьсот гимнастерок сойдут с конвейера. Я торопилась и меня торопили ма-

шинистки: "Давай, основовища, давай!"

И в этот момент, когда я нагнулась над тюком, вдруг чувствуя, как закружилась голова, ноги подкосились, темно стало в глазах, а весь цех пошел кругом меня завертелся... Закрыла глаза, упала на седьмой ток и... больше ничего не помню.

Очнулась в больнице. Заболела пелагрой. Долго пролежала в больнице. Врачи надежды не имели на выздоровление. Это страшная болезнь, пелагра. При третьей стадии листрофии организм уже не принимает пищу.

Но я каким-то чудом осталась жива. Нет, впрочем это не чудо. Просто здоровый организм с большой закалкой с детства, с большой сопротивляемостью, победил.

После выздоровления меня оставили в больнице работать медсестрой.

К этому времени относится еще одно событие. Начальником лагеря был Кий. Я запомнила его хорошо. Он проявлял большую заботу о заключенных, которые честно работали. Особенно проявлял внимание к нам, матерям с детьми. Организация яслей было делом его рук. Усиленное питание для кормящих матерей - тоже. Освобождал матерей от тяжелых работ.

Так вот, однажды этот начальник вызывает меня и говорит: "Зека Сандрецкая, тебе поручается воспитательная работа среди малолеток."

Малолетками назывались малолетние правонарушители. Было у

*Фабрико-малолеткие преступники*

нас в лагере их 250 человек в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет.

На предложение начальника, которое меня крайне поразило, я ответила, вернее, как-то выпалила, правда, с иронией: "Что вы, что вы, гражданин начальник! Как вы можете поручать воспитательную работу мне, врагу народа, контрику?!"

А он мне отвечает спокойно:

"Какие вы, жены, враги, прости господи?! На фабрики даете двести пятьдесят процентов выполнения. Просто попали в Ежовые рукаиши."

Работу с малолетками я начала. Составила план, одобренный КВЧ. Работа меня эта заинтересовала и захватила. Начала я ее с волнением. Подошла к детям, исковерканным всякими обстоятельствами жизни, с чувством матери.

С малолетками надо было не только проводить беседы, разъяснять, разговаривать с каждым в отдельности, но и быть с ними, когда они работают, отдыхают, едят. Даже когда спят, раза 2-3 в ночь надо было пройтись по бараку. За едой необходимо было следить, чтобы они все съедали, не прятали хлеб, чтобы его потом обменять на макорку. Все это не легко было организовать. Сначала ребята смеялись надо мной, не доверяли. Тащили у меня все, начиная с пайки хлеба, очков, подушки, одеяла. Я знала, что это делают они, потому что они сами с издевкой об этом говорили. И вот, я сама не заметила, как нашла к их сердцам ключик.

Потом они сознавались мне: "Хотели тебя разозлить. Нарочно тащили у тебя. А ты какая-то чудная. Внимания не обращала."

Через некоторое время все, что утащили, вернулось ко мне. Когда, кто приносил, я не видела, не знала.

Но так, между прочим, мимоходом нельзя говорить спокойно об этом позорном, удручающем явлении нашей жизни, о преступности среди малолетних. Хочется написать об этом отдельно.

Помню, мучил меня вопрос. Правильно ли, когда малолетних за совершенные ими различные преступления помещают в общий лагерь. Ведь в нем взрослые преступники, матерые рецидивисты, бывалые, опытные бандиты, воры в лагере вовлекают малолеток в новые преступления, учат квалифицированным методам воровства, взломов, вовлекают их в разврат.

Видя все это, я глубоко сомневалась, исправятся ли они в общем лагере. И вот, я решила не оставаться равнодушной. Работа с малолетними правонарушителями дала мне возможность ближе узнать, чем жил этот мир маленьких преступников. Я написала подробно обо всем, что видела, узнала. Высказала свое мнение, что малолеток надо перевести в специальные трудовые колонии. Письма свои я отправила Горькому не зная, что его нет в живых, Крупской, в Прокуратуру. О судьбе своих писем не знаю. Дошли ли они до них, мне осталось неизвестно.

Письма эти я писала всю ночь во время дежурства в больнице. Был один факт, который здорово подстегнул меня написать. После него я уже не могла оставаться равнодушной, молчать.

А дело было так. Вечером, выходя из барака на дежурство в больницу, я у входа увидела девочку лет 11-12 из малолеток. Она сразу привлекла мое внимание. Стоит как-то кокетливо. Поза развязаная, вызывающая.

Подходит к ней известный в лагере Леша. Он рецидивист, крупный преступник, жиган. Ему 35 лет. У него шесть приводов обратно в тюрьмы и лагеря. Большие сроки. Четыре побега. Специальность — ограбление с убийством. В лагере он не работает, мотивируя тем, что "от работы лошади мрут". Но у него все есть. Питается он хорошо. За отказ от работы часто сидит в карцере.

В лагере для малолеток он жиган, главарь, вожак. Малолетки сами не съедали, относили ему еду, хлеб. Снабжали его махоркой, которую доставали для него в обмен на свой хлеб.

Обязанность была у меня крайне неприятная, но необходимая. У входа в столовой я должна была проверять, не выносят ли мои малолетки хлеб, кашу. Если обнаруживала, заставляла их тут же съесть.

И вот, однажды, один мальчик лет тринацати ни за что не хотел мне отдать завернутую в тряпичку кашу. Я заставляла его сейчас же ее съесть. Был он худенький, бледный. Я особенно поэтому настаивала, чтобы он съел. Досадно было, что не съедает этот щедрый мальчик свою еду, а относит ее этому паразиту Леше. А он ни за что не отдавал кашу и съесть ее не соглашался: "Говорю, не троши! Не буду я ее кушать. Это для Леши. Он больной. В карцере." Заплакал. Мне стало его жалко. Говорю: "Ну, если больной, отнеси ему. На первый раз поверю тебе. Только скажи Леше, пусть лучше работает. Будет больше хлеба получать, пищу. И болеть не будет".

Да...

Так вот, этот самый Леша, которому 35 лет, подходит к девочке. А ей всего только ... двенадцать.

зарядка  
Домаш  
8 105  
и приобр  
и замен  
9 2 0

В это самое время я выходила из барака. Слышу, он говорит ей: "Малышка, в кино хочешь? Бери билет. Ночью тихонько придешь ко мне. До отбоя заходи в наш барак. Запрячся под вагонку, а как потушат свет, забирайся ко мне."

В лагере у нас было в клубе кино. Клуб был маленький. Всех не вмещал. Билет в кино достать было трудно. Но Леша всегда все доставал. Для него никаких не было трудностей. Девочка охотно взяла у него билет. Кто из детей не любит кино? Но... какой страшной платой она платила за него... И когда она протянула руку за билетом, в движениях и во всей фигурке ее чувствовалась гордость. Вот, мол: "Знайте мою цену. Меня уже можно купить." И она кокетливо, еще с детской угловатостью, улыбалась этому подлецу. Она была довольна, что в ней, еще далекой до зрелости, уже нашли что-то женское. Она была довольна, что обладает этим "капиталом"...

До сих пор не могу забыть эту девочку. Я вижу ее. Она передо мной, как горький упрек тому, что не ликвидированы еще такие гнойники, как преступность среди малолетних, проституция.

Где же ты сейчас? Вышел ли из тебя толк? Вошла ли ты в трудовую семью? Или?... Нет, нет!

Я верю, верю, что должен был выйти из тебя человек.

Моих детей постигла печальная, тяжелая судьба. Двенадцатилетнюю дочь Искру отправили в детдом в Ульяновск, а Светлану десяти лет и Володю восьми лет в Орловскую область в детдом для малолетних преступников.

вариант  
вариант  
18/105  
книги  
Ф. З.

Более жестокой казни уже нельзя было придумать...

В этом детдоме мальчики били Володя за то, что он не хотел с ними воровать. Били его по голове, отчего он перестал слышать на одно ухо.

Эта потеря слуха для жизни сына оказалась роковой. Ему было тридцать два года, когда он трагически погиб.

Гибель сына была отзвуком всей трагедии нашей семьи, павшей жертвой репрессий периода культа личности Сталина.

После детдома Володя работал в системе "Стальконструкция". Высотником-монтажником, электро-сварщиком, клепальщиком. Работал на строительстве доменных печей. Много мостов на Волге переклепал. Много на его счету сложных сооружений промышленности.

28 февраля 1962 года Володя, сын мой, погиб. Его раздавил контрольный груз крана, когда он на высоте строящегося завода принимал деталь.

Из детского дома я получала письма от Светланы. Безисходной тоской по матери, отцу, родному дому проникнуты письма моей девятилетней дочери.

Письма наших детей, тоже изгнанных из жизни, из родного города, становилось достоянием всего лагеря. Их читали все, они переходили из рук в руки...

На детские милые каракули падали горькие, беспомощные, уже никому ненужные слезы изгнанных из жизни матерей, насильно разделенных со своими детьми.

Большим праздником и большим неутешным горем были для нас письма детей. Они разрывали наши сердца, сердца зека-мамок, как называли нас в заключении.

Светлана мне писала:

"Дорогая моя, любимая, золотая моя мамочка!

Не всегда же будем мы жить в разных местах. Настанет же такой день счастливый в нашей жизни, когда мы, как и раньше, будем все вместе, папа, ты и мы. И опять будет нам весело, хорошо. Будет, будет такой счастливый день."

Детская психика не выдержала страшную травму. И как можно было выдержать?...

"Когда тебя забрали, — писала Светлана, — с нашей любимой малюсенькой сестреночкой Галочкой, сразу приехали за нами и отвезли. Мы не знали, куда нас привезли. А когда спросили, почему в комнате на окнах решетки и почему двери запирали большим ключом, нам сказали, что это детский распределитель при тюрьме. Потом повезли нас далеко в поезде. В нем на окнах тоже были решетки. Нас было много, детей из Ленинграда. У дверей в вагоне сидел военный дядя с винтовкой, а возле него мешок, запечатанный сургучом. В нем была наши личные дела." (!)

— Светлана заболела психически в детском доме. Умерла дочка моя...

На мой вопрос о причине смерти мне из больницы врач ответила: "Ваша дочь серьезно и тяжело болела. Нарушены были функции мозговой, нервной деятельности. Чрезвычайно тяжело переносила разлуку с родителями. Не принимала пищу. Оставляла для вас. Все время спрашивала: "Где мама, письмо от нее было? А папа где?" Умирала тихо. Только жалобно звала: "Мама, мама..."

Когда Светлана еще была здорова, однажды в письме она прислала мне свое стихотворение.

Молчали мы все. Мы боялись сказать,  
Что в мыслях тебя склонили.

И думали только о том, как узнать,  
Где тело твое положили.

И кто над могилою скромной твоей  
Слезу с грустью горькой обронит...

Лишь ветер в просторах сибирских полей  
Быть может, печально застонет.

Лишь Томь заискрится лазурной волной,  
Сбегая с предгорья Алтая...

И я уж навеки прощалась с тобой,  
Мамуся моя дорогая...

И вдруг я услышала, мама жива!  
Как радостно сердце забилось...

И счастьем сверкая, тихонько слеза  
На почерк знакомый скатилась.

Это стихотворение Светланы переходило из рук в руки матерей.  
Они читали и горько плакали... Каждая видела в нем свою судьбу,  
свое горе и горькую участь своих детей, которых постигло большое  
несчастье!

А я за стихотворение дочери три дня отсидела в карцере на  
трехстах граммах хлеба в день и воде. Обвинили в распространении  
"вредного" письма. Письмо с стихотворением у меня отобрали. Вый-  
дя на волю, я по памяти его восстановила.

По инициативе и при участии заключенных матерей в лагере бы-  
ли организованы детские ясли. Начальник лагеря "ЯЯ" Кий, в Сиб-

лаге добился разрешения и средств на организацию яслей. С большой нежностью и любовью вспоминаю врача Сожигайлло Ольгу Федоровну, заключенную, жену.

Все силы свои, внимание и ласку она щедро отдавала на то, чтобы детям нашим в яслях было хорошо, чтобы было им тепло, чтобы хорошо они были одеты, обуты и хорошо питались.

Спасибо вам от матерей, Ольга Федоровна.

Я работала на фабрике. После работы приходила в ясли проводить Галю. Она бросалась ко мне навстречу, обнимала, целовала, заглядывала в глаза и приговаривала: "Дай лобик поцеловать, глазки, щечки".

Забавная, веселая, подвижная. Ни одной минуты на одном месте. Крепыш. Здоровая, жизнерадостная.

Глядя на нее, я просто удивлялась. Откуда у нее все эти качества? Что только она ни перенесла в дороге, и в тюрьме. Несколько раз умирала. Какое счастье, что на утробной ее жизни не отразилась моя придавленность горем. И поняла я, что сказался на ней здоровый физически и морально организм отца-моряка. Да и мать не подкачала. Передала щедро своим детям здоровье, жизнеустойчивость.

И все же я поражалась, глядя на нее. Ведь когда я рожала ее, я так навзрыд рыдала, что врач сделал мне замечание: "Лучше кричите."

Он не знал, что произошло со мной. А мне становилось страшно при мысли, что принесу я нашего четвертого ребенка домой, а... отца уже нет.

Я уйду с ним из больницы одна. Дома никто меня не ждет, не встретит...

60

56

7

32

113

1961

7 авт 8 10

Григорий

Григорий

Григорий

Григорий

Григорий

Поля с детьми уехала в деревню.

И вот, смотрю, смотрю на Галю. Вспоминаю, сколько слез пролила над ней в бессонные ночи в дороге, в тюрьме. Умирала и выжила.

А теперь смеется. В восторге от того, что бегает. Радуется жизни.

И еще я поняла, что с материнским молоком я, пройдя с ней через муки и страдания, передала ей свою безграничную, неугасшую в гнетущей действительности, любовь к жизни.

Вот подбегает Галя к заведующей детскими яслями (вольной) и радостно лопочет: "Мамочка-заведующая, моя мама, мама пришла!" А заведующая в ней души не чает. Как приходит в ясли комиссия, начальство, она ее выдвигает вперед напоказ, вот мол, какие у нас дети в яслях.

Хоть лагерь у нас женский, но есть некоторое количество мужчин. Это специалисты швейники. Их затребовали для фабрики из других лагерей. В яслях находились их дети от связи с заключенными женщинами. Сожительство между заключенными запрещалось, строго преследовалось, но они как-то устраивались.

Так появлялись лагерные папы, лагерные дети.

И когда такой лагерный папа приходил проводить своего ребенка, все остальные, у которых уже пап не было и они не знали вообще, что это такое, так как родились через месяц, два после их ареста, все вместе с его ребенком были ему рады, радостно подбегали к нему, обхватывали за ноги, карабкались, смеясь, на колени.

В такие моменты я видела, что и с Галей моей происходит что-то наладное. Она не понимала, но многое стала замечать. Ей шел

1972  
8/13

зарисовка  
1961  
9/2/61  
подпись

уже третий год. Своего папу она не видела, не знала.

И вот, когда я однажды пришла проведать свою дочку, произошло такое, что сильно ранило мое сердце. А в нем-то вообще уже не было живого места.

Да... Вот так. Галя сидит у меня на руках, обнимает меня своими ручонками, целует, смеется, что-то рассказывает... и вдруг замолкает. Смотрит серьезно и пристально в сторону, где сидит один папа и держит на руках свою дочку, которая тоже радуется встрече, обнимает отца. В одно мгновение, я и не успела заметить, как Галя сползла у меня с рук на пол, подбегает к тому папе, взбирается ему на другое колено. Так сидят они друг против друга, две подружки. Вижу, Галя заглядывает ему в глаза, обнимает, целует и радостная, сияющая, произносит незнакомое, но такое хорошее слово: "Папа, папа!", - называет она чужого, не своего...

А каково мне было в этот момент?!...

.....

Когда Гале пошел четвертый год, она стала замечать окружающую ее обстановку. Лагерь был большой. Длинные деревянные большие бараки. Высокая запретная зона. На вышках конвойры с винтовками. Внизу с внешней стороны у каждой вышки овчарки.

Галя забрасывала меня недоуменными вопросами, когда я гуляла с ней по двору лагеря, услышит лай собак, которую она никогда не видела и спрашивает: "Что там? Хочу туда." Тянет меня за руку к зоне, за которой была такая желанная, но еще далекая до окончания срока воля...

Я поняла, что ребенку со мной больше нельзя оставаться в заключении.

Я написала Прокурору Союза и просила его разрешить отослать ребенка родным.

Одновременно я написала сестре моей матери в Москву Серафиме Ильиничне Голлер и сестре моей Рахили Карловне Сандрацкой. Я писала им, что Галя уже все начинает замечать, что условия для дальнейшего развития ребенка в лагере неподходящие и просила их до моего возвращения взять дочку мою к себе.

Я получила от них согласие.

Вскоре от Прокурора Союза начальник лагеря получил приказ о том, чтобы Галю отвезли к родным в Москву.

Отвезила Галю вольная, врач из больницы лагеря.

Разлука с дочкой была тяжелая. Поезд из Томска отходил в 2 часа 30 минут ночи, когда по лагерю заключенным нельзя былоходить. Сопровождал нас до проходной конвоир.

Я запомнила дорогу от яслей до проходной.

Галя у меня на руках. За мной конвоир и сопровождающая врач. Как всегда веселая, разговорчивая, немного сонная, так как ее разбудили, чтобы собраться, Галя прижалась крепко ко мне. Обвила мою ручонками и говорит, говорит: "Мамочка, я тебя люблю. Ты пойдешь со мной, со мной!"

В проходной сопровождающая ее врач подошла к ней, приласкала ее, попробовала взять ее к себе на руки. А Галя не дается. И свое: "С мамой, с мамой".

А когда услышала, как сказал конвоир: "Зека-мамка, прощайся с дочкой. Им пора. А то опоздают на поезд," еще сильней обхватила меня и, громко плача, снова повторяет: "С мамой, с мамой"...

Оторвали ее от меня насилино, с трудом...

И я почувствовала, как обрывается последнее звено, связывающее меня с жизнью... Я остаюсь совсем одна, опустошенная, в полном одиночестве. Плакать я не могла. Слез не было. Только внутри в сердце что-то сильно оборвалось и оно все было, как открытая рана, где что-то жгло, щемило, болело...

Я продолжала стоять у закрывающейся за моей дочкой двери проходной. Конвойир сидел, курил. Он не торопил меня. Видел и понимал, что со мной происходит.

А я окаменевшая от горя, от того, что только что надолго простились со своим ребенком, все стояла у двери проходной.

Еще надолго дверь эта закрылась передо мной...

За ней на волос уходила моя дочка.

И я слышу, как она громко навзрыд плачет, кричит: "Где моя мама? Я хочу к маме!"

Потом крики ее и плач становились все тише, заглушеннее. Они удалялись. Но я еще слышала, как она зовет меня. И вот уже тишина. И я уже не слышу голоса своего ребенка. Очнулась. Что-то сильно сдавило в груди, не давало вздохнуть...

"Ну, пора... Пошли", - услышала я слова конвойира. И повел меня обратно в барак.

• • • • •  
Так начался второй этап в моей жизни в заключении, без ребенка.

Я отбывала свой срок заключения не только в лагере "Я". Меня, уже не как зека-мамку, а просто зека, часто по этапу отправляли то в один, то в другой лагерь. Обыкновенно, было ли это

летом, осенью, зимой, мы, выстроившись колонной, мужчины и женщины, шли пешком по широкой сибирской дороге.

Впереди, по бокам и позади конвоиры с винтовками и овчарками. В начале пути и во время следования к месту назначения несколько раз обычное предупреждение: "При попытке к бегству будем стрелять. В сторону не отходить."

О, эти этапы... Идешь... Идешь... И ты уже не человек. Зеки... Зк, Владимирка, Владимирка...

Думала ли я, что буду шагать по ней, как заключенная...

В лагерях "Тайга", в Старокузнецком лагере, на руднике "Темир-Тау" мы, члены семьи, жены, выполняли тяжелые работы по строительству дорог, рельс и проведению водопровода, канализации и многое, много других работ.

Работали и ждали, ждали волю. А она была еще так далека...

Страницу за страницей я раскрываю свою тетрадь. В нее я записываю, что запечатлела память. Не знающая ни малости, ни пошады, она воскресает все пережитое, уже далекое, но не забытое...

Есть в этой тетради такие страницы, над которыми я останавливаюсь надолго в раздумьях.

Я все еще хочу понять до конца, как, пережив страшный обрыв, Голгофу, я осталась жива физически и морально.

Как в самые черные, беспроглядные дни, годы тюрем и лагерей сохранилась неугасимая вера, воля, решимость во что бы то ни стало побороть смерть, все выдержать.

И когда я задумываюсь над этим, предо мною снова воскресают

образы ушедшего, но оставшегося вечно живым.

В них я нахожу ответ.

И я вспоминаю... В мраке тюремной камеры в долгие мучительные бессонные ночи я вспоминала о хорошем, незабываемом... Воскресало передо мной улыбающее лицо Сергея Мироновича Кирова, такого близкого и родного, так бесконечно любимого всеми нами...

В сердце звучали его слова, сказанные им на семнадцатом съезде партии: ..."И если вот так, по-человечески сказать, как чертовски хочется жить на нашей земле, переделанной нами." Эти слова возвращали к жизни.

Душу леденит сознание, что та же преступная рука, погубившая сотни тысяч людей, беззаботно преданных Партии, Родине, та же рука смела с лица замечательной нашей обновленной земли, обагрилась кровью того, кто с такой страстью, с огромной любовью без остатка отдал свою жизнь переделке жизни, земли.

Мы любили Сергея Мироновича не только, как руководителя, но и как человека большой, светлой души. С ним работать было такой большой радостью.

Не изгладится из памяти первое декабря 1934 года... В этот день зверски был убит из-за угла подосланным убийцей С.М.Киров. Не стало нашего Миронича, с которым мы, ленинградцы, так уверенно шли вперед, куда звал нас и вел он. И мы с радостью шли с ним, отдавали себя целиком также, как и он, осуществлению лучших идеалов Партии.

В этот день первого декабря ничего не подозревая, мы пришли на общегородской партактив слушать доклад Сергея Мироновича

74c  
1-го 1934 г.  
Сергей  
Будько

об итогах ноябрьского пленума ЦК. Но... доклад его мы не услышали. За час сорок минут до него Сергей Миронович был убит...

В этот вечер и ночь на предприятиях Ленинграда состоялись траурные митинги. Мы рассказывали рабочим, всем трудащимся, населению о человеке, которого они глубоко любили.

В эту ночь я вернулась домой в три часа тридцать минут ночи. Тихо, чтобы не разбудить детей, вхожу. Но дети не спали. Лежа на своих кроватках, они слушали передачу по радио о случившемся. Не спала наша мама-Поля, как дети ее называли. Эта простая, скромная девушка из деревни под Вологдой, Апполинария Андреевна Кондакова, в жизни нашей семьи сыграла решающую роль. Благодаря ей, мне удалось связать работу с материством.

Когда я была в заключении, Поля ездила к детям в детские дома в Ульяновск, в Орловскую область.

Во время блокады Поля погибла. Обессиленная и голодная она направилась принести воду из проруби на Неве. Поднялась метель. Сбила ее с ног. Подняться она уже не могла от слабости... Утром ее нашли, замерзшую. Возле нее стояли саночки с пустым ведром.

Да...

Придя домой в ту ночь первого декабря, которую не забыть, я увидала своих детей. Они и сейчас передо мной, их лица, глаза... Не по-детски скорбные. Слушают и плачут. Ничего не сказали, когда я вошла. Только смотрели вопрошающим взглядом.

Как-то особенно запомнилась мне Светлана. Она лежала на спине, заложив руки за голову. Глаза широко раскрыты, в них слезы и такое большое, неутешное горе... Я подошла к ней, нагнулась, что-

бы поцеловать. Она крепко, порывисто обняла меня, еще сильнее заплакала, и с такой болью, не детской, говорит: "Мамочка, мама! Что же это? Почему? Такого человека убили..."

Такое безысходное горе чувствовала девочка восьми лет...

Огромной заслуженной любовью платили ленинградские дети Сергею Мироновичу за его постоянную исключительную заботу о них, за нежность, ласку и чуткость к ним, за действенную тревогу за их судьбы.

О, если бы он знал, какая горькая участь постигла тех, кого он так любил! Если бы знал, что эти ростки нашего будущего, которые он с такой тщательностью и любовью взращивал, будут бесподобно вырваны той же рукой, которая погубила его...

.....

И еще воскресают передо мной...

На нарах в тюремной камере, прижавшись к моей груди, лежит маленькое, беспомощное существо. Мой ребенок. Насытившись материнским молоком, смотрит на меня черными, как угольки, глазенками, моя дочка. Она улыбается. Да, да! Она уже радуется жизни. Ведь рядом с ней ее мать. Что еще ей надо? Для нее это все.

Она и не знает, что первые два года ее жизни пройдут в тюрьме.

Да и зачем ей это знать.

Вот что заставляло меня жить. Вот где я черпала свои силы.

Мой ребенок, жизнь которого я должна во что бы то ни стало сохранить. Не только я этого страстно хотела. Это была последняя

192  
1-5 113  
Летний  
9/2  
Будильник

просьба ее отца...

Глядя на нее, как она безмятежно улыбается, смотрит на меня своими ясными глазенками, я говорила ей:

"ТЫ ВЫРАСТЕШЬ, И Я ТЕБЕ СКАЖУ, ДОЧКА, ЧТО ВОТ ЭТА ТВОЯ УЛЫБКА ВОЗВРАЩАЛА МЕНЯ К ЖИЗНИ."

В такие минуты безнадежность, отчаяние выпускало меня из своих цепких ледяных тисков. Я ощущала прилив бодрости, жизни.

И я еще раз, и еще раз давала себе слово, во что бы то ни стало остатся жить и сохранить жизнь ребенка.

Девятого мая 1945 года в День Победы над фашистской Германией начальник лагеря на руднике в Темир-Тау, где кончался мой срок восьмилетнего заключения, предложил мне выступить на митинге перед заключенными.

Помню, говорила не я, а наболевшее, истосковавшееся по воле, сердце... Я говорила и не могла сдержать слез. Но это уже не были горькие, безысходные слезы. Не только я, но и стоящие передо мной плакали.

Мы плакали от радости, что Победа, что уже близка такая желанная воля. Поздравляли друг друга. Обнимались, целовались.

Да... Этот май в заключении был необычный. Он принес нашей Родине победу. Мы, изгнанные дочери ее, страдали от того, что в этот день были далеко запрятаны от ликующего народа своей страны.

Этот май 1945 года должен был нам принести долгожданную свободу. Со дня на день мы ждали освобождения. На душе было хорошо. И вместе с тем грустно. Грустно потому, что на эту последнюю весну в заключении я еще смотрела через решетку.

Отгородившая меня на долгие мучительные годы от жизни, семьи, близких, любимого труда, она безжалостно воскрешала пережитое.

В такие минуты в сердце закрашивалось горькое, бесыходное.

Этот май опять былие звуки

Разбудил в душе моей больной.

Восемь долгих лет разлуки

С жизнью, радостью, семьей...

Я отрывала глаза от решетки и старалась не замечать ее. И видела. Изумительное ясное, голубое до синевы весеннее сибирское небо. Искрящийся снег. И такое яркое солнце, щедро льющее лучи свои на горы, тайгу. Лед, сковывавший сердце, оттаивал.

И опять, и опять в который еще раз жизнеутверждающее брало вверх.

Я говорила себе:

Нет, по-прежнему осталась я все той же  
Только... жизнь люблю еще сильней.

Не согнулась под ударами. И даже  
Все родное стало лишь родней.

И вот уже первое мая 1947 года. Горношория. Рудник в Темир-  
Тау около Монгольской границы.

Срок по приговору кончился в 1945 году, а нас почему-то за-  
держали на два года.

Опять весна, но она не радует.

Я в молчанья сижу у окна,

Снег на солнце предо мной искрится.

Отчего же я стала грустна,  
Что заставило сердце забиться?...

В ожидании освобождения прошла еще и еще одна весна, два коротких лета. И опять завыли метели. Закрутились сибирские бураны. Занесло глубоким снегом горы, тайгу, рудник, лагерь, дороги.

А мы все ждали, будто уже такую близкую волю. Но она еще не приходила.

В такие минуты я писала своей сестре:

И вот, опять в снегу тайга и горы.

Прошел тот май, прошла весна...

А я по-прежнему в глубоком горе,

Далеко от детей. Одна... Одна...

Я говорю с тобой, моя родная,

К тебе несутся строки, полные тоски.

Ты, горе стям моим внимая,

Поймешь страдания больной души.

Кровоточит, неизлечима рана,

Мне до сих пор покоя нет...

Где Вася?... Где моя Светлана?...

Где самое святое - партбилет?...

Вся жизнь моя так вдребезги разбита,

Что не смогу осколки я собрать,

За десять лет так много пережито,

Что нет уже сил надеяться ли ждать.

На что надеяться? Какая впереди дорога?  
Путей так много, но не для меня.  
Где дом? Кто встретит у порога,  
Моя родная, милая сестра.

\* \* \*

В декабре 1947 года я была освобождена. Но воли настоящей не было. Поехать в родной город Одессу, где я родилась, училась, работала, нельзя было. В Ленинград, где прошла моя жизнь в работе, в семье с детьми, с Васей, тоже нельзя было. Это были города, где люди из заключения не имели права жить.

И я скиталась еще восемь лет, высланная в отдаленные места.

В 1955 году волею Партии были восстановлены добрые имена верных борцов за дело коммунизма, погибших в 1937 году, павших жертвами репрессий периода культа личности Сталина.

Среди этих имен имя моего мужа, Горб Василия Ивановича.

После этого была реабилитирована я и восстановлена в Партии.

Так, через 18 лет изгнания я была возвращена к жизни.

\* \* \*

Вот я и рассказала, что запечатлела память, что осталось и живет в ней, в сердце. Пережитое, уже далекое прошлое, не забыто.

Я закрываю эту тетрадь. Закрываю в раздумья...

Все ли я сказала? Нет, не все.

Как же прожить остаток жизни, возвращенную мне?

Ведь движущей силой всей моей жизни была мечта о замечатель-

но построенной полнокровной жизни среди любимых людей в любимом труде. И я знала и готова была бороться за такую жизнь.

Мечта о лучшей жизни в ранней молодости привела меня к Партии. Я была горда и счастлива, что в рядах ее участвовала в осуществлении лучших ее идеалов.

Партия научила меня жить и работать, активно вмешиваться в жизнь для осуществления заветов Владимира Ильича Ленина.

Партия воспитывала во мне волю, решимость.

Но... в роковое, предрешенное одним человеком, вмешаться, чтобы предотвратить страшный обрыв жизни мне не удалось, как не удалось, десяткам тысяч таких же обреченных, как я.

Дети и внуки мои спросят меня: "Почему вы, коммунисты, не предотвратили?"

Мы верили Сталину.

Все, что я пережила, не надломило меня. И сейчас одно у меня желание.

Весь остаток своей жизни так прожить, чтобы быть нужной и полезной Партии и Родине.

И я по-прежнему хожу по улицам родного Ленинграда. По-прежнему горда и счастлива, что живу в замечательную эпоху переплавки земли.

Я узнала, прочувствовала, что не такое легкое дело - переплавка. Браком в ней оказался 1937 год.

Двадцатый съезд нашей партии решительно пошел в наступление,

чтобы раз и навсегда ликвидировать этот брак.

.....  
Я закрываю свою тетрадь...

В ней я со всей искренностью правдивостью рассказала о пережитом, теперь уже далеком прошлом.

Через все испытания, все пережитое я пронесла, сохранила в своем сердце неугасимую любовь к Жизни, неувядаемое чувство верности и преданности Партии и Родине.

30 октября  
№ 3

Мария САЛДАРЦЫКОВА

## ДЕТИ НА ЭТАПЕ

Эти воспоминания написаны в 1964 году. Материал хранится в архиве НИПП "Мемориал", Ф. 2. - Оп. 1. - Дело № 109. Л. 24-74.

К вечеру погрузили нас, матерей с детьми, в автобусы и повезли на станцию Ленинград-Товарная, где стояла большая состав из 45 теплушек для арестованных. Два вагона приспособили для матерей с грудными детьми. В них разместились 65 матерей.

В коротце жестала нас настоящая, суровая зима. И вот мы едем. Куда, не знаем. Обреченные, неизвестные за что изгнанные из жизни. С нами нации крошки, ничем не проницавшиеся перед человечеством, разве только тем, что родились в страшный 37-й год.

В вагонах — мороз. Стекла в окончках с решетками покрыты льдом. В дних концов вагона топится, вернее, зымят "буржуйки". Тепла на весь вагон они не дают. От них только копоть, дым. Нам трудно дышать, а каково малышикам?

Когда поезд отошел от Ленинграда, и спросила сидящего с винтовкой в руках у дверей вагона конвойца: "Товарищ, куда мы едем?" Ответил с запальчивостью: "Я тебе не товарищ!" — "Почему?" — "Потому что я вольный, а ты заключенная, контрактница."

В вагонах — мороз. Стекла в окончках с решетками покрыты льдом. Смотрю через решетку на отдалевшийся любимый город, где я так была счастлива. Говорю сама себе: "Прошли, любимый мой Ленинград..."

Конвой услышал и опять с сердцем: "Эх ты! Какой же он теперь твой?" Не твой же Ленинград. Так я узнала, куда нас несут.

Что я могла иметь к этому конвояру? Молодой парень с явно напущенным на себя серьезным и злыим видом. А лицо у него открытое, хорошее. Отвечал он мне так, как ему приказывали.

И все же страшно стало от его слов. Больно отозвались они в моем сердце. Отошла. Постела на полку где, закутавшись, лежал мой ребенок, заплакала бессильными, никому уже не нужными, никем не видимыми слезами...

А Гали горела. В дороге заболела двусторонним воспалением легких. Температура упорно держалась 40,5, 40,8. Два раза в день из другого вагона приходил в сопровождении конвойного врач, тоже заключенный. Запретил разворачивать при таком холде ребенка. Велел держать его все время в подушке. Давать все время грудь. Сказал, что в условиях дороги это единственное лекарство. Платятельные движения будут способствовать работе легких. И я в точности выполнила совет врача. Материнское молоко спасло Гали. К счастью, его у меня было много. Но количество становилось нуж...

Восемнадцать дней мы ехали до Томска. И эту долгую, мучительную дорогу до Томской тюрьмы вспоминаю как тяжелый кошмарный сон.

Две матери разделили себе горю стеклом. Истекла кровью. Спастис их не удалось. Утром из вагона вынесли их трупы. Одна мать сошла с ума. Ночью и днем все время кричала, рыдала, ходила, выла, билась головой, кусала себя и тех, которые ее пробовали сдерживать.

Ребенка у нее отняли. Без матерей остались трое детей. Одного из них взяла я кормить своей грудью, а двух — другие матери. Горе нас сблизило. Мы были, как одна семья, спирившаяся, обреченная.

Воды горячей не было. По нашей просьбе конвой на остановках привозил холодную воду. Мы грели ее на "буржуйке", но ее не хватало на то, чтобы хотя бы подмывать детей, простираять лялечки. К тому же холод был такой, что разворачивать детей нельзя было. И пришлось придумать другой способ.

Когда утром нам привозили пайки хлеба, довески к ним были приколоты деревянными палочками. Мы их схранили. Этими палочками мы скребли вату с пеленок, которую вытаскивали из-под ребенка, не разворачивая его. Вместо нее подкладывали "чистую", сухую. Но чистыми они уже не были. Из-за отсутствия достаточного количества горячей воды мы не имели возможности простираять как следует детское белье. От этого пеленки стали грязно-зелеными, одревесневшими.

Очищенные и выкрученные, мы сушили их, мяк и рубашочки детские, чулочки, оригинальным способом, придуманным нами.

Мы обматывали ее вокруг своих ног, рук, спины, груди и так сушили... Вот идет по улицам Томска этап. 63 матери с закутанными детьми на руках. По бокам, впереди и позади конвойры с винтовками наперевес, с овчарками. Винтовки дулом направлены на нас.

Проходящие граждане останавливаются, снимают шапки, кланяются. Старая женщина подходит к одной матери. Крестит ребенка. Видим: быстро, чтобы не заметила конвой. Сунула в руки матери кусок хлеба. Но он увидел и отогнал ее.

А мы идем, идем дальше. Вот и встал. Состав с окнами в решетках. Это для нас...